ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 29

Лев Николаевич Толстой

Полное собрание сочинений. Том 29. Произведения 1891–1894 гг. Первая ступень

Серия «Весь Толстой в один клик»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6880723

Содержание

Лев Николаевич Толстой 5
Предисловие к электронному изданию 7
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 10
I 10
II 13
III 17
IV 20
V 23
VI 27
VII 30
VIII 39
IX 47
X 58
Комментарии Н. В. Горбачева 62
«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ» 62
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ 62
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ 69
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ. 72
I 75
II 90
III 101
IV 104

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ. 108
Иллюстрации 111

Лев Николаевич Толстой
Первая ступень
(1891 г.)

Государственное издательство
художественной литературы
Москва – 1954
Электронное издание осуществлено
компаниями ABBYY и WEXLER
в рамках краудсорсингового проекта
«Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 29-го тома
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой

Электронное издание
90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого
доступно на портале
www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 29-му тому
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать
в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в

электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно

Л. Н. Толстой в Бегичевке.
Фотография 1892 г.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

I

Если человек делает дело не для показу, а с желанием совершить его, то он неизбежно действует в одной, определенной сущностью дела, последовательности. Если человек делает после то, что по сущности дела должно быть сделано прежде, или вовсе пропускает то, что необходимо сделать для того, чтобы можно было продолжать дело, то он наверное делает дело не серьезно, а только притворяется. Правило это неизменно остается верным как в материальных, так и в нематериальных делах. Как нельзя серьезно желать печь хлебы, не замесив прежде муку, и не вытопив потом, и не выметя печи и т. д., так точно нельзя серьезно желать вести добрую жизнь, не соблюдая известной последовательности в приобретении необходимых для того качеств.

Правило это в делах доброй жизни особенно важно, потому что в материальном деле, как, например, в печении хлеба, можно узнать, серьезно ли человек занимается делом, или только притворяется, по результатам его деятельности; в ведении же доброй жизни поверка эта невозможна. Если люди, не меся муки, не топя печи, как на театре делают только вид, что они пекут хлеб, то по последствиям – отсутствию

хлеба – очевидно для каждого, что они только притворялись; но если человек делает вид, что он ведет добрую жизнь, мы не имеем таких прямых указаний, по которым мы бы могли узнать, серьезно ли он стремится к ведению доброй жизни, или только притворяется, потому что последствия доброй жизни не только не всегда ощутительны и очевидны для окружающих, но очень часто представляются им вредными; уважение же и признание полезности и приятности для современников деятельности человека ничего не доказывают в пользу действительности его доброй жизни.

И потому для распознавания действительности доброй жизни от видимости ее особенно дорог этот признак, состоящий в правильной последовательности приобретения нужных для доброй жизни качеств. Дорог этот признак преимущественно не для того, чтобы распознавать истинность стремлений к доброй жизни в других, но для распознавания ее в самом себе, так как мы в этом отношении склонны обманывать самих себя еще более, чем других.

Правильная последовательность приобретения добрых качеств есть необходимое условие движения к доброй жизни, и потому всегда всеми учителями человечества предписывалась людям известная, неизменная последовательность приобретения добрых качеств.

Во всех нравственных учениях устанавливается та лестница, которая, как говорит китайская мудрость, стоит от земли до неба, и на которую восхождение не может происхо-

дить иначе, как с низшей ступени. Как в учениях браминов, буддистов, конфуцианцев, так и в учении мудрецов Греции, устанавливаются ступени добродетелей, и высшая не может быть достигнута без того, чтобы не была усвоена низшая. Все нравственные учители человечества, как религиозные, так и не религиозные, признавали необходимость определенной последовательности в приобретении добродетелей, нужных для доброй жизни; необходимость эта вытекает и из самой сущности дела, и потому, казалось бы, должна бы быть признаваема всеми людьми.

Но удивительное дело! Сознание необходимой последовательности качеств и действий, существенных для доброй жизни, как будто утрачивается всё более и более и остается только в среде аскетической, монашествующей. В среде же светских людей предполагается и признается возможность приобретения высших свойств доброй жизни не только при отсутствии низших добрых качеств, обусловливающих высшие, но и при самом широком развитии пороков; вследствие чего и представление о том, в чем состоит добрая жизнь, доходит в наше время в среде большинства светских людей до величайшей путаницы. Утрачено представление о том, что есть добрая жизнь.

II

Произошло это, как я думаю, следующим образом.

Христианство, заменяя язычество, выставило более высокие, чем языческие, нравственные требования и, как и не могло быть иначе, выставляя свои требования, установило, как и в языческой нравственности, одну необходимую последовательность приобретения добродетелей или ступеней для достижения доброй жизни.

Добродетели Платона, начинаясь воздержанием, через мужество и мудрость, достигали справедливости; христианские добродетели, начинаясь самоотречением, через преданность воле божией достигают любви.

Люди, серьезно принявшие христианство и стремившиеся усвоить для себя добрую христианскую жизнь, так и понимали христианство и всегда начинали добрую, жизнь отречением от своих похотей, включающим в себя языческое воздержание.

Христианское учение потому только и заменило языческое, что оно иное и выше языческого. Но христианское учение, как и языческое, ведет людей к истине и добру; а так как истина и добро всегда одни, то и путь к ним должен быть один, и *первые* шаги на этом пути неизбежно должны быть одни и те же как для христианина, так и для язычника.

Различие христианского от языческого учения добра в

том, что языческое учение есть учение конечного, христианское же – бесконечного совершенства. Платон, например, ставит образцом совершенства справедливость; Христос же ставит образцом бесконечное совершенство любви. «Будьте совершенны, как отец ваш небесный». От этого и различное отношение языческого и христианского учения к различным ступеням добродетелей. Достижение высшей добродетели по языческому учению возможно, и всякая ступень достижения имеет свое относительное значение: чем выше ступень, тем больше достоинства, так что люди с языческой точки зрения разделяются на добродетельных и недобродетельных, на более или менее добродетельных. По христианскому же учению, выставившему идеал бесконечного совершенства, деления этого не может быть. Не может быть и ступеней высших и низших. По христианскому учению, указавшему бесконечность совершенства, все ступени равны между собою по отношению к бесконечному идеалу. Различие достоинства в язычестве состоит в той ступени, которая достигнута человеком; в христианстве достоинство состоит только в процессе достижения, в большей или меньшей скорости движения. С языческой точки зрения человек, обладающий добродетелью благоразумия, стоит в нравственном значении выше человека, не обладающего этой добродетелью; человек, обладающий сверх благоразумия и мужеством, стоит еще выше; человек, обладающий и благоразумием, и мужеством, и сверх того справедливостью, стоит еще выше; христианин

же не может считаться ни один ни выше, ни ниже другого в нравственном значении; христианин только тем более христианин, чем быстрее он движется к бесконечному совершенству, независимо от той ступени, на которой он в данную минуту находится. Так что неподвижная праведность фарисея ниже движения кающегося разбойника на кресте.

Но в том, что движение к добродетели, к совершенству не может совершаться помимо низших степеней добродетели как в язычестве, так и в христианстве, – в этом не может быть различия.

Христианин, как и язычник, не может не начать работу совершенствования с самого начала, т. е. с того же, с чего начинает ее язычник, именно с воздержания, как не может тот, кто хочет войти на лестницу, не начать с первой ступени. Разница только в том, что для язычника воздержание само по себе представляется добродетелью, для христианина же воздержание есть только часть самоотречения, составляющего необходимое условие стремления к совершенству. И потому истинное христианство в своем проявлении не могло отвергнуть добродетели, которые указывало и язычество.

Но не все люди понимали христианство, как стремление к совершенству отца небесного; христианство, ложно понятое, уничтожало искренность и серьезность отношения людей к нравственному его учению.

Если человек верит, что может спастись помимо исполнения нравственного учения христианства, то ему естествен-

но думать, что усилия его быть добрым излишни. И потому человек, верующий в то, что есть средства спасения помимо личных усилий к достижению совершенства[1], не может стремиться к этому с той энергией и серьезностью, с которою стремится человек, не знающий никаких других средств, кроме личных усилий. А не стремясь к этому с полною серьезностью, зная другие средства кроме личных усилий, человек неизбежно будет пренебрегать и тем одним неизменным порядком, в котором могут быть приобретаемы добрые качества, нужные для доброй жизни. Это самое и случилось с большинством людей, внешним образом исповедующих христианство.

[1] Как, например, индульгенции у католиков.

III

Учение о том, что личные усилия не нужны для достижения человеком духовного совершенства, а что есть для этого другие средства, является причиной ослабления стремления к доброй жизни и отступления от необходимой для доброй жизни последовательности.

Огромная масса людей, которая внешним только образом приняла христианство, воспользовалась заменой язычества христианством для того, чтобы, освободившись от требований языческих добродетелей, как бы не нужных уже для христианина, освободить себя и от всякой необходимости борьбы с своей животной природой.

То же самое сделали и люди, переставшие верить во внешнее только христианство. Они точно так же, как и те верующие, выставляя вместо внешнего христианства какое-нибудь принятое большинством мнимое доброе дело, в роде служения науке, искусству, человечеству, – во имя этого мнимого доброго дела освобождают себя от последовательности приобретения качеств, нужных для доброй жизни, и довольствуются тем, что притворяются, как на театре, что живут доброю жизнью.

Такие люди, отставшие от язычества и не приставшие к христианству в его истинном значении, стали проповедывать любовь к богу и людям без самоотречения и справедливость

без воздержания, т. е. проповедывать высшие добродетели без достижения низших, т. е. не самые добродетели, а только подобие их.

Одни проповедуют любовь к богу и людям без самоотречения, другие – гуманность, служение людям, человечеству без воздержания.

И так как проповедь эта поощряет животную природу человека под видом введения его в высшие нравственные сферы, освобождая его от самых элементарных требований нравственности, давным-давно высказанных язычниками, и не только не отвергнутых, но усиленных истинным христианством, то она охотно была принята как верующими, так и неверующими.

На днях только вышла энциклика папы о социализме. Там после опровержения мнения социалистов о незаконности собственности сказано прямо, что «никто, несомненно, не обязан помогать ближнему, давая из того, что ему или семье его нужно (Nul assurément n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son necéssaire ou sur celui de sa famille), ни даже уменьшить что-либо из того, чего требуют от него приличия. Никто, в самом деле, не должен жить противно обычаям». (Это место из святого Фомы: Nullus enim inconvenienter debet vivere.) «Но после того, как отдано должное нужде и внешним приличиям», говорит далее энциклика, «обязанность каждого – отдавать излишек бедным».

Так проповедует глава одной из самых распространенных

теперь церквей. И рядом с этой проповедью эгоизма, предписывающей отдавать ближнему то, что вам не нужно, проповедуется любовь, и постоянно с пафосом приводятся знаменитые слова Павла из 13 главы 1-го послания к коринфянам о любви.

Несмотря на то, что всё учение евангелия переполнено требованиями самоотречения, указаниями на то, что самоотречение есть первое условие христианского совершенства, несмотря на такие ясные изречения, как: «кто не возьмет креста своего… кто не отречется от отца, матери… кто не погубит жизнь свою…» – люди уверяют себя и других, что возможно любить людей, не отрекаясь не только от того, к чему привык, но и от того, что сам считаешь для себя приличным, Так говорят ложные христиане, и точь-в-точь так же думают и говорят и пишут и поступают люди, отвергающие не только внешнее, но и истинное христианское учение, люди свободомыслящие. Люди эти уверяют себя и других, что, вовсе не уменьшая своих потребностей, не побеждая своих похотей, можно служить людям и человечеству, т. е. вести добрую жизнь.

Люди отбросили языческую последовательность добродетелей и, не усвоив христианского учения в его истинном значении, не приняли и христианской последовательности и остались без всякого руководства.

IV

В старину, когда не было христианского учения, у всех учителей жизни, начиная с Сократа, первою добродетелью в жизни было воздержание – ἐγκράτεια ИЛИ σωφροσύνη, и было ПОНЯТНО, что всякая добродетель должна начинаться с нее и проходить через нее. Было ясно, что человек, не владеющий собой, развивший в себе огромное количество похотей и подчиняющийся всем им, не мог вести добрую жизнь. Было ясно, что прежде, чем человек мог думать не только о великодушии, о любви, но о бескорыстии, справедливости, он должен был научиться владеть собою. По нашим же взглядам этого ничего не нужно. Мы вполне уверены, что человек, развивший свои похоти до той высшей степени, в которой они развиты в нашем мире, человек, не могущий жить без удовлетворения сотни получивших над ним власть ненужных привычек, может вести вполне нравственную, добрую жизнь.

В наше время и в нашем мире стремление к ограничению своих похотей считается не только не первым, но даже и не последним, а совершенно не нужным для ведения доброй жизни делом.

По царствующему самому распространенному современному учению о жизни увеличение потребностей считается, напротив, желательным качеством, признаком развития, ци-

вилизации, культуры и совершенствования. Люди так называемые образованные считают, что привычки комфорта, т. е. изнеженности, суть привычки не только не вредные, но хорошие, показывающие известную нравственную высоту человека, почти что добродетель.

Чем больше потребностей, чем утонченнее эти потребности, тем считается это лучше.

Ничто так ясно не подтверждает этого, как описательная поэзия и в особенности романы прошедшего и нашего века.

Как изображаются герои и героини, представляющие идеалы добродетелей?

В большинстве случаев мужчины, долженствующие представить нечто возвышенное и благородное, начиная с Чайльд-Гарольда и до последних героев Фелье, Троллопа, Мопассана, – суть не что иное, как развратные тунеядцы, ни на что, ни для кого не нужные; героини же – это так или иначе, более или менее доставляющие наслаждение мужчинам любовницы, точно так же праздные и преданные роскоши.

Я не говорю о встречающемся изредка в литературе изображении действительно воздержных и трудящихся лиц, – я говорю о типе обычном, представляющем идеал для массы, о том лице, похожим на которое старается быть большинство мужчин и женщин. Помню, когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился и с которым боролся, – и с которым теперь, я знаю, борются все романисты, имеющие хотя самое смутное сознание того,

что́ составляет действительную нравственную красоту, – заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который бы был верен действительности.

V

Несомненным доказательством того, что действительно люди нашего времени не только не признают того, что языческое воздержание или христианское самоотречение суть свойства желательные и добрые, но считают увеличение потребностей чем-то хорошим и возвышенным, служит то, как в огромном большинстве воспитываются дети нашего мира. Их не только не приучают к воздержанию, как это было у язычников, и к самоотречению, как это должно быть у христиан, но сознательно прививают им привычки изнеженности, физической праздности и роскоши.

Мне давно хотелось написать такую сказку: женщина, оскорбленная другой, желая отмстить ей, похищает ребенка своего врага, идет к колдуну, прося его научить, чем она злее всего может отмстить своему врагу на единственном похищенном детище. Колдун научает похитительницу отнести ребенка в место, которое он указывает, и утверждает, что месть будет самая ужасная. Злая женщина делает это, но следит за ребенком и к удивлению своему видит, что ребенок взят и усыновлен бездетным богачом. Она идет к колдуну и упрекает его, но колдун велит ждать. Ребенок растет в роскоши и изнеженности. Злая женщина в недоумении, но колдун велит ждать. И действительно наступает время, когда злая женщина удовлетворена и даже жалеет свою жертву. Ребе-

нок вырастает в изнеженности и распущенности и, благодаря своему доброму характеру, разоряется. И тут начинается ряд физических страданий, нищеты и унижений, к которым он особенно чувствителен и с которыми не умеет бороться. Стремление к нравственной жизни – и бессилие изнеженной, приученной к роскоши и праздности плоти. Тщетная борьба, падение всё ниже и ниже, пьянство, чтоб забыться, и преступление, или сумасшествие, или самоубийство.

В самом деле, нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем мире. Только злейший враг мог бы так старательно прививать ребенку те слабости и пороки, которые прививаются ему родителями, в особенности матерями. Ужас берет, глядя на это и еще более на последствия этого, если уметь видеть то, что̀ делается в душах лучших из этих старательно самими родителями погубляемых детей.

Привиты привычки изнеженности, привиты тогда, когда еще молодое существо не понимает их нравственного значения. Уничтожена не только привычка воздержания и самообладания, но, обратно тому, что делалось при воспитании в Спарте и вообще в древнем мире, совершенно атрофирована эта способность.

Не только не приучен человек к труду, ко всем условиям всякого плодотворного труда, сосредоточенного внимания, напряжения, выдержки, увлечения делом, уменья исправить испорченное, привычки усталости, радости совершения, но приучен к праздности и пренебрежению всяким произведе-

нием труда, приучен к тому, чтоб портить, бросать и вновь за деньги приобретать всё, что вздумается, не думая даже никогда о том, как что делается. Человек лишен способности к приобретению первой по порядку добродетели, необходимой для приобретения всех других, – благоразумия, и пущен в мир, в котором проповедуются и как будто ценятся высокие добродетели справедливости, служения людям, любви. Хорошо, если молодой человек – натура нравственно слабая, не чуткая, не чующая разницы между показной доброй жизнью и настоящей, и которая может удовлетворяться царствующим в жизни злом. Если так, то всё устраивается как будто хорошо, и с непроснувшимся нравственным чувством такой человек иногда спокойно доживает до гроба. Но не всегда это так бывает, в особенности в последнее время, когда сознание безнравственности такой жизни носится в воздухе и невольно западает в сердце. Часто, и всё чаще и чаще, бывает так, что требования настоящей, непоказной нравственности пробуждаются, и тогда начинаются внутренняя мучительнейшая борьба и страдания, редко кончающиеся победой нравственного чувства. Человек чувствует, что жизнь его дурна, что ему надо изменить ее всю с самого начала, и он пытается это сделать; но тут люди, прошедшие ту же борьбу и не выдержавшие ее, со всех сторон нападают на пытающегося изменить свою жизнь и стараются всеми средствами внушить ему, что этого вовсе и не нужно, что воздержание и самоотречение не нужны для того, чтобы быть доб-

рым, что можно, предаваясь объядению, наряжанию, физической праздности, даже блуду, быть вполне хорошим, полезным человеком. И борьба большей частью кончается плачевно. Либо измученный своей слабостью человек подчиняется этому общему голосу и подавляет в себе голос совести, кривит свой ум, чтобы оправдать себя, и продолжает вести ту же развратную жизнь, уверяя себя в том, что он выкупает ее верой во внешнее христианство или служением науке, искусству; либо борется, страдает и сходит с ума, или застреливается. Редко бывает то, чтобы среди всех соблазнов, окружающих его, человек нашего мира понял то, что̀ есть и было тысячелетия тому назад азбучной истиной для всех разумных людей, именно то, что для достижения доброй жизни надо прежде всего перестать жить дурной жизнью и что для достижения каких-либо высших добродетелей надо прежде всего приобретать добродетель воздержания или самообладания, как определяли ее язычники, или добродетель самоотречения, как определяет ее христианство, – и стал бы понемногу усилиями над собой достигать ее.

VI

Я только что читал письма нашего высокообразованного передового человека сороковых годов, изгнанника Огарева, к другому еще более высокообразованному и даровитому человеку – Герцену. В письмах этих Огарев высказывает свои задушевные мысли, выставляет свои высшие стремления, и нельзя не видеть, что он, как это и свойственно молодому человеку, отчасти рисуется перед своим другом. Он говорит о самосовершенствовании, о святой дружбе, любви, о служении науке, человечеству и т. д. И тут же спокойным тоном он пишет, что часто раздражает приятеля, с которым живет, тем, что, как он пишет «возвращаюсь (домой) в нетрезвом виде или пропадаю долгие часы с погибшим, но милым созданием»… Очевидно, замечательно сердечный, даровитый, образованный человек не мог даже представить себе, чтобы было что-нибудь хоть сколько-нибудь предосудительного в том, чтобы он, женатый человек, ожидая родов жены (в следующем письме он пишет, что жена его родила), возвращался домой пьяный, пропадая у распутных женщин. Ему в голову не приходило, что пока он не начал бороться и хоть сколько-нибудь не поборол своего поползновения к пьянству и блуду, ему о дружбе, любви, а главное о служении чему бы то ни было и думать нельзя. А он не только не боролся с этими пороками, но, очевидно, считал их чем-то очень ми-

лым, нисколько не мешающим стремлению к совершенствованию, а потому не только не скрывал их от своего друга, перед которым он хочет выставиться в лучшем свете, но прямо выставлял их.

Так это было полстолетия тому назад. Я застал еще этих людей. Я знал самого Огарева и Герцена, и людей того склада, и людей, воспитанных в тех же преданиях. Во всех этих людях было поразительное отсутствие последовательности в делах жизни. В них были искреннее горячее желание добра и полнейшая распущенность личной похоти, которая, казалось им, не может мешать доброй жизни и произведению ими добрых и даже великих дел. Они сажали немешанные хлеба в нетопленную печь и верили, что хлеба испекутся. Когда же под старость они стали замечать, что хлеба не пекутся, т. е. что никакого добра от их жизни не совершается, они видели в этом особенный трагизм.

Трагизм такой жизни действительно ужасен. И трагизм этот, каков он был в те времена для Герцена, Огарева и других, таков он и теперь для многих и многих так называемых образованных людей нашего времени, удержавших те же взгляды. Человек стремится жить доброю жизнью, но та необходимая последовательность, которая нужна для этого, потеряна в том обществе, в котором он живет. Как 50 лет тому назад Огарев и Герцен, так и большинство теперешних людей убеждены, что вести изнеженную жизнь, есть сладко, жирно, наслаждаться, всячески удовлетворять своей похоти

– не мешает доброй жизни. Но, очевидно, добрая жизнь не выходит у них, и они предаются пессимизму и говорят: «таково трагическое положение человека».

VII

Заблуждение в том, что люди, предаваясь своим похотям, считая эту похотливую жизнь хорошею, могут при этом вести добрую, полезную, справедливую, любовную жизнь, так удивительно, что люди последующих поколений, я думаю, прямо не будут понимать, что̀ именно разумели люди нашего времени под словами «добрая жизнь», когда они говорили, что обжоры, изнеженные, похотливые ведут добрую жизнь. В самом деле, стоит только на время отрешиться от привычного взгляда на нашу жизнь и посмотреть на нее – не говорю с точки зрения христианской – но с точки зрения языческой, с точки зрения самых низших требований справедливости, чтобы убедиться, что здесь не может быть и речи ни о какой доброй жизни.

Всякому человеку в нашем мире для того, чтобы, не скажу начать добрую жизнь, но только начать хоть немного подвигаться в ней, надо прежде всего перестать вести злую жизнь, надо начать разрушать те условия злой жизни, в которой он находится.

Как часто слышишь, как оправдание того, что мы не изменяем нашей дурной жизни, рассуждение о том, что поступок, идущий в разрез с обычной жизнью, был бы ненатуральным, был бы смешным, или желанием выказаться, и был бы от того не добрым поступком. Рассуждение это как будто сдела-

но для того, чтобы люди никогда не изменили своей дурной жизни. Ведь если бы вся жизнь наша была хорошею, справедливою, доброю, то ведь только тогда всякий поступок, согласный с общею жизнью, был бы добрый. Если же жизнь на половину хорошая, на половину дурная, то для всякого поступка, не согласного с общей жизнью, столько же вероятия быть хорошим, сколько и дурным. Если же жизнь вся дурная, неправильная, то человеку, живущему этой жизнью, нельзя сделать ни одного доброго поступка, не нарушив привычного течения жизни. Можно сделать дурной поступок, не нарушив обычного течения жизни, но нельзя сделать хорошего.

Человеку, живущему нашей жизнью, нельзя вести добрую жизнь, прежде чем он не выйдет из тех условий зла, в которых он находится, нельзя начать делать доброе, не перестав делать злое. Невозможно роскошно живущему человеку вести добрую жизнь. Все его попытки добрых дел будут тщетны, пока он не изменит своей жизни, не сделает то первое по порядку дело, которое ему предстоит сделать. Добрая жизнь, как по языческому мировоззрению, так тем более по христианскому, измеряется одним, и не может измеряться ничем иным, как только отношением в математическом смысле любви к себе – к любви к другим. Чем меньше любви к себе и вытекающей из нее заботы о себе, трудов и требований от других для себя, и чем больше любви к другим и вытекающих из нее заботы о других, трудов своих для других, тем добрее жизнь.

Так понимали и понимают добрую жизнь все мудрецы мира и все истинные христиане, и точно так же понимают ее все самые простые люди. Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает другим и больше требует себе, тем он хуже.

Если передвинуть точку опоры рычага от длинного конца к короткому, то этим не только увеличится длинное плечо, но укоротится еще и короткое. Так что, если человек, имея одну данную способность любви, увеличил любовь и заботу о себе, то этим он уменьшил возможность любви и заботы о других не только на то количество любви, которое он перенес на себя, но во много раз больше. Вместо того, чтобы кормить других, человек съел лишнее, и этим не только уменьшил возможность отдать это лишнее, но еще себя лишил вследствие объядения возможности заботиться о других.

Для того, чтобы точно, не на словах быть в состоянии любить других, надо не любить себя – тоже не на словах, а на деле. Обыкновенно же бывает так: других мы думаем, что любим, уверяем в этом себя и других, но любим только на словах, себя же любим на деле. Других мы забудем покормить и уложить спать, себя же никогда. И потому для того, чтобы точно любить других на деле, надо выучиться забывать покормить себя и уложить себя спать, так же как мы забываем это сделать относительно других.

Мы говорим «добрый человек» и «ведет добрую жизнь» про человека изнеженного, привыкшего к роскошной жиз-

ни. Но человек такой – мужчина или женщина – может иметь самые любезные черты характера, кротости, благодушия, но не может вести добрую жизнь, как не может быть острым и резать самой хорошей работы и стали нож, если он не наточен. Быть добрым и вести добрую жизнь значит давать другим больше, чем берешь от них. Человек же изнеженный, и привыкший к роскошной жизни, не может этого делать, во-первых, потому, что ему самому всегда много нужно (и нужно не по эгоизму его, а потому что он привык, и для него составляет страдание лишиться того, к чему он привык), а во-вторых, потому, что, потребляя всё то, что он получает от других, он этим самым потреблением ослабляет себя, лишает себя возможности работать и потому служить другим. Человек изнеженный, мягко, долго спящий, жирно, сладко и много едящий и пьющий, соответственно тепло или прохладно одетый, не приучивший себя к напряжению работы, может сделать только очень мало.

Мы так привыкли лгать сами себе и ко лжи других, – так выгодно нам не видеть лжи других, чтобы они не увидали нашей, что мы нисколько не удивляемся и не сомневаемся в справедливости утверждения добродетели, иногда даже святости людей, живущих вполне распущенной жизнью. Человек, мужчина или женщина, спит на постели с пружинами, двумя матрацами и двумя чистыми глажеными простынями, наволочками, на пуховых подушках. У кровати его коврик, чтобы ему не холодно было ступить на пол, несмотря на то,

что тут же стоят туфли. Тут же еще необходимые принадлежности так, что ему не надо выходить. Окна завешаны шторами так, что свет не может разбудить его, и он спит до какого ему поспится часа. Кроме того, приняты меры, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно, чтобы его не тревожили шум и мухи и другие насекомые. Он спит, а вода горячая и холодная для умывания, иногда для ванны или для бритья, уже готова. Готовится и чай или кофе, возбудительные напитки, которые выпиваются тотчас же после вставания. Сапоги, башмаки, калоши, несколько пар, которые он запачкал вчера, уже чистятся так, что они блестят, как стекло, и на них нет ни пылинки. Также чистятся разные заношенные предшествующим днем одежды, соответствующие не только зиме и лету, но весне, осени, дождливой, сырой, жаркой погоде. Приготовляется вымытое, накрахмаленное, разутюженное чистое белье с пуговками, запонками, петельками, которые все осматриваются приставленными к тому людьми. Если человек деятелен, он встает рано, т. е. в 7 часов, т. е. все-таки часа два, три после тех, которые всё это готовят для него. Кроме приготовления одежд для дня и покрывала для ночи есть еще одежда и обувь для времени одеванья, халаты, туфли, и вот человек идет умываться, чиститься, чесаться, для чего употребляет несколько сортов щеток, мыл и большое количество воды и мыла. (Многие англичане и женщины особенно гордятся почему-то тем, что они могут очень много вымылить мыла и вылить на себя воды.) Потом чело-

век одевается, причесывается перед особым от тех, которые висят почти во всех комнатах, зеркалом, берет необходимые ему вещи, как то: большей частью очки или pince-nez, лорнет, потом раскладывает по карманам: платок чистый, чтобы сморкаться, часы на цепочке, несмотря на то, что везде, где он будет, почти в каждой комнате есть часы; берет деньги разных сортов, мелкие (часто в особой для того машинке, избавляющей от труда найти то, что нужно) и бумажки, карточки, на которых напечатано его имя, избавляющие от труда сказать или написать; книжку белую, карандаш. Для женщины одеванье еще много сложнее: корсет, прическа, длинные волосы, украшения, тесемочки, ластики, ленточки, завязочки, шпильки, булавки, брошки.

Но вот всё кончено, начинается день обыкновенно едой, пьется приготовленный кофе или чай с большим количеством сахара, едят булки; хлеб первого сорта пшеничной муки с большим количеством масла, иногда свиного мяса. Мужчины большей частью при этом курят папиросы или сигары и затем читают газету свежую, только что принесенную. Потом хождение из дома на службу или по делам, или езда в экипажах, нарочно существующих для перевозки этих людей. Потом завтрак из убитых животных, птиц, рыб, потом обед такой же, при большой скромности из трех блюд, – сладкое блюдо, кофе, потом игра – карты, и игра – музыка, или театр, чтение или беседа в мягких пружинных креслах при усиленном и смягченном свете свечи, газа, электриче-

ства, – опять чай, опять еда, ужин и опять в постель, приготовленную, взбитую с чистым бельем и с очищенной посудой.

Таков день человека скромной жизни, про которого, если он мягкого характера и не имеет исключительно неприятных для других привычек, говорят, что это человек, ведущий добрую жизнь.

Но добрая жизнь есть жизнь того человека, который делает добро людям; как же может делать добро людям человек, живущий так и привыкший жить так? Ведь прежде, чем делать добро, он должен перестать делать зло людям. А сочтите всё то зло, которое он, часто сам не зная этого, делает людям, и вы увидите, что ему далеко до добра людям, и много, много ему надо совершить подвигов для того, чтобы искупить делаемое им зло, а что подвигов-то он, расслабленный своей похотливой жизнью, никаких производить и не может. Ведь спать он мог бы и здоровей и физически, и нравственно, лежа на полу на плаще, как спал Марк Аврелий, и потому все труды и работы матрацов и пружин и пуховых подушек и ежедневной работы прачки, женщины, слабого существа с своими женскими слабостями и родами и кормлением детей, полоскающей его, сильного мужчины, белье, – все эти труды могли бы не быть. Он мог бы лечь раньше и встать раньше, и труды гардин и освещения вечером могли бы тоже не быть. Мог бы он спать в той же рубахе, в которой ходил днем, мог бы ступать босыми ногами на пол и выдти на двор, мог бы

умыться водой у колодца, – одним словом, мог бы жить так, как живут все те, которые работают всё это на него, и потому всех этих трудов на него могло бы не быть. Могло бы не быть и всех тех трудов для его одежд, для его утонченной пищи, для его увеселений.

Так как же такому человеку делать добро людям и вести добрую жизнь, не изменив свою изнеженную, роскошную жизнь. Не может нравственный человек, не говорю христианин, но только исповедующий гуманность, или хоть только справедливость, не может не желать изменить своей жизни и не перестать пользоваться предметами роскоши, изготовляемыми иногда с вредом для других людей.

Если человек точно жалеет людей, работающих табак, то первое, что он невольно сделает, это то, что он перестанет курить, потому что, продолжая курить и покупая табак, он этим поощряет производство табаку, губящее здоровье людей.

Но люди нашего времени рассуждают не так. Они придумывают самые разнообразные и хитрые рассуждения, но только не то, которое естественно представляется всякому простому человеку. По их рассуждениям, воздерживаться от предметов роскоши совсем не нужно. Можно соболезновать положению рабочих, говорить речи и писать книги в их пользу и вместе с тем продолжать пользоваться теми трудами, которые мы считаем для них губительными.

По одним рассуждениям выходит, что пользоваться губи-

тельными трудами других людей можно, потому что, если я не буду пользоваться, то будет пользоваться другой. Вроде того рассуждения, что надо выпить вредное мне вино, потому что оно куплено, и если не я, то другие выпьют его.

По другим выходит, что пользование для роскоши трудами этих людей даже очень полезно для них, так как этим мы даем им деньги, т. е. возможность существования, точно как будто нельзя давать им возможность существования ничем иным, как только тем, чтобы заставлять их работать вредные для них и излишние для нас вещи.

Всё это происходит от того, что люди вообразили себе, что можно вести добрую жизнь, не усвоив но порядку первое свойство, нужное для доброй жизни.

И первое свойство это есть воздержание.

VIII

Доброй жизни не было и не может быть без воздержания. Помимо воздержания не мыслима никакая добрая жизнь. Всякое достижение доброй жизни должно начаться через него.

Есть лестница добродетелей, и надо начинать с первой ступени, чтобы взойти на последующие; и первую добродетель, которую должен усвоить человек, если он хочет усвоить последующие, есть то, что древние называли ἐγκράτεια или σωφροσύνη, т. е. благоразумие или самообладание.

Если в христианском учении воздержание включено в понятие самоотречения, то тем не менее последовательность остается та же самая, и приобретение никаких христианских добродетелей невозможно без воздержания – не потому, что кто-либо это выдумал, а потому, что таково существо дела.

Воздержание есть первая ступень всякой доброй жизни.

Но и воздержание достигается не вдруг, а тоже постепенно.

Воздержание есть освобождение человека от похотей, есть покорение их благоразумию, σωφροσύνη. Но похотей у человека много различных, и для того, чтобы борьба с ними была успешна, человек должен начинать с основных, – таких, на которых вырастают другие, более сложные, а не с сложных, выросших на основных. Есть похоти сложные, как

похоть украшения тела, игр, увеселений, болтовни, любопытства и много других, и есть похоти основные: обжорства, праздности, плотской любви. В борьбе с похотями нельзя начинать с конца, с борьбы с похотями сложными; надо начинать с основных, и то в одном определенном порядке. И порядок этот определен и сущностью дела, и преданием мудрости человеческой.

Объедающийся человек не в состоянии бороться с ленью, а объедающийся и праздный человек никогда не будет в силах бороться с половой похотью. И потому по всем учениям стремление к воздержанию начиналось с борьбы с похотью обжорства, начиналось постом. В нашем же мире, где до такой степени потеряно, так давно потеряно всякое серьезное отношение к приобретению доброй жизни, что самая первая добродетель – воздержание, – без которой другие невозможны, считается излишней, – потеряна и та постепенность, которая нужна для приобретения этой первой добродетели, и о посте многими забыто и решено, что пост есть глупое суеверие и что пост совсем не нужен.

А между тем так же, как первое условие доброй жизни есть воздержание, так и первое условие воздержанной жизни есть пост.

Можно желать быть добрым, мечтать о добре, не постясь; но в действительности быть добрым без поста так же невозможно, как идти, не вставши на ноги.

Пост есть необходимое условие доброй жизни. Обжорство

же всегда было и есть первый признак обратного – недоброй жизни, и, к сожалению, этот признак относится в высшей степени к жизни большинства людей нашего времени.

Взгляните на лица и сложения людей нашего круга и времени, – на многих из этих лиц с висящими подбородками и щеками, ожиревшими членами и развитыми животами лежит неизгладимый отпечаток развратной жизни. Да это и не может быть иначе. Присмотритесь к нашей жизни, к тому, чем движимо большинство людей нашего мира; спросите себя, какой главный интерес этого большинства? И как ни странно это может показаться нам, привыкшим скрывать наши настоящие интересы и выставлять фальшивые, искусственные, – главный интерес жизни большинства людей нашего времени – это удовлетворение вкуса, удовольствие еды, жранье. Начиная с беднейших до богатейших сословий общества, обжорство, я думаю, есть главная цель, есть главное удовольствие нашей жизни. Бедный, рабочий народ составляет исключение только в той мере, в которой нужда мешает ему предаваться этой страсти. Как только у него есть время и средства к тому, он, подражая высшим классам, приобретает самое вкусное и сладкое, и ест и пьет, сколько может. Чем больше он съест, тем больше он не только считает себя счастливым, но сильным и здоровым. И в этом убеждении поддерживают его образованные люди, которые именно так и смотрят на пищу. Образованные классы представляют себе счастье и здоровье (в чем уверяют их доктора, утверждая,

что самая дорогая пища, мясо – самая здоровая), в вкусной, питательной, легко перевариваемой пище, – хотя и стараются скрыть это.

Посмотрите на жизнь этих людей, послушайте их разговоры. Какие все возвышенные предметы как будто занимают их: и философия, и наука, и искусство, и поэзия, и распределение богатств, и благосостояние народа, и воспитание юношества; но всё это для огромного большинства – ложь, всё это их занимает между делом, между настоящим делом, между завтраком и обедом, пока желудок полон, и нельзя есть еще. Интерес один живой, настоящий, интерес большинства, и мужчин и женщин – это еда, особенно после первой молодости. Как поесть, что̀ поесть, когда, где?

Ни одно торжество, ни одна радость, ни одно освящение, открытие чего бы то ни было не обходится без еды.

Посмотрите на путешествующих людей. На них это особенно видно. «Музей, библиотеки, парламент – как интересно! А где мы будем обедать? Кто лучше кормит?» Да взгляните только на людей, как они сходятся к обеду, разодетые, раздушенные, к украшенному цветами столу, как радостно потирают руки и улыбаются.

Если бы заглянуть в души, – чего ждет большинство людей? – Аппетита к завтраку, к обеду. В чем наказание самое жестокое с детства? Посадить на хлеб и воду. Кто получает из мастеровых наибольшее жалованье? Повара. В чем главный интерес хозяйки дома? К чему в большинстве слу-

чаев склоняется разговор между хозяек среднего круга? И если разговор людей высшего круга не склоняется к этому, то это не потому, что они более образованны и заняты высшими интересами, а только потому, что у них есть экономка или дворецкий, которые заняты этим и обеспечивают их обеды. Но попробуйте лишить их этого удобства, и вы увидите, в чем их забота. Всё сводится к вопросам об еде, о пене тетеревов, о наилучших средствах варить кофе, печь сладкие пирожки и т. д. Собираются люди вместе, по какому бы случаю они ни собирались: для крестин, похорон, свадьбы, освящения церкви, проводов, встречи, празднования памятного дня, смерти, рождения великого ученого, мыслителя, учителя нравственности, собираются люди, занятые будто бы самыми возвышенными интересами. Так они говорят; но они притворяются: все они знают, что будет еда, хорошая, вкусная еда, и питье, и это главное собрало их вместе. За несколько дней уже для этой самой дели били и резали животных, тащили корзины продуктов из гастрономических магазинов, и повара, помощники их, поваренки, буфетные мужики, особенно одетые, в чистых крахмальных фартуках, колпаках, «работали». Работали получающие 500 и больше рублей в месяц chef'ы, отдавая приказания. Рубили, месили, мыли, укладывали, украшали повара. Еще с таким же торжеством и важностью работал такой же начальник сервировки, считая, обдумывая, прикидывая взглядом, как художник. Работал садовник для цветов. Судомойки… Работает армия

людей, поглощаются произведения тысяч рабочих дней, и всё для того, чтобы людям, собравшись, поговорить о памятном великом учителе науки, нравственности, или вспомнить умершего друга, или напутствовать молодых супругов, вступающих в новую жизнь.

В низшем и среднем быту ясно видно, что праздник, похороны, свадьба – это жранье. Так там и понимают это дело. Жранье так заступает место самого мотива соединения, что по-гречески и по-французски свадьба и пир однозначащи. Но в высшем кругу, среди утонченных людей, употребляется большое искусство для того, чтобы скрыть это и делать вид, что еда есть дело второстепенное, что это так только приличие. Они и удобно могут представлять это, потому что большей частью в настоящем смысле слова пресыщены – никогда не голодны.

Они притворяются, что обед, еда, им не нужны, даже в тягость; но это ложь. Попробуйте вместо ожидаемых ими утонченных блюд дать им, не говорю хлеба с водой, но каши и лапши, и посмотрите, какую бурю это вызовет, и как окажется то, что действительно есть, именно то, что в собрании этих людей главный интерес не тот, который они выставляют, а интерес еды.

Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по городу и посмотрите, что продается: наряды и предметы для объядения.

В сущности это так и должно быть и не может быть иначе

Не думать об еде, держать эту свою похоть в пределах можно только тогда, когда человек покоряется необходимости есть; но когда человек, только покоряясь необходимости, т. е. полноте желудка, перестает есть, тогда это не может быть иначе. Если человек полюбил удовольствие еды, позволил себе любить это удовольствие, находит, что это удовольствие хорошо (как это находит всё огромное большинство людей нашего мира, и образованные, хотя они и притворяются в обратном), тогда нет пределов его увеличению, нет пределов, дальше которых оно не могло бы разрастись. Удовлетворение потребности имеет пределы, но удовольствие не имеет их. Для удовлетворения потребности необходимо и достаточно есть хлеб, кашу или рис; для увеличения удовольствия нет конца приправам и приспособлениям.

Хлеб есть необходимая и достаточная пища (доказательство этому – миллионы людей сильных, легких, здоровых, много работающих на одном хлебе). Но лучше хлеб есть с приправой. Хорошо мочить хлеб в воде, наварной от мяса. Еще лучше положить в эту воду овощи, и еще лучше разные овощи. Хорошо съесть и мясо. Но мясо лучше съесть не вываренное, а только зажаренное. А еще лучше с маслом слегка зажаренное и с кровью, известные части. А к этому еще овощи и горчицу. И запить это вином, лучше всего красным. Есть уже не хочется, но можно съесть еще рыбы, если приправить ее соусом и запить вином белым. – Казалось бы, больше нельзя ни жирного, ни вкусного. Но сладкое еще

можно съесть, летом мороженое, зимой компот, варенье и т. п. И вот обед, скромный обед. Удовольствие этого обеда можно еще много, много увеличить. И увеличивают, и увеличению этому нет пределов: и возбуждающие аппетит закуски, и entremets,[2] и десерты, и разные соединения вкусных вещей, и цветы, и украшения, и музыка за обедом.

И удивительная вещь, – люди, каждый день объедающиеся такими обедами, перед которыми ничто Валтасаров пир, вызвавший чудесную угрозу, наивно уверены, что они при этом могут вести нравственную жизнь.

---

[2] [легкое блюдо, подаваемое перед десертом,]

IX

Пост есть необходимое условие доброй жизни; но и в посте, как и в воздержании, является вопрос, с чего начинать пост, как поститься, – как часто есть, что есть, чего не есть? И как нельзя заняться серьезно никаким делом, не усвоив нужной в нем последовательности, так и нельзя поститься, не зная, с чего начать пост, с чего начать воздержание в пище.

Пост. Да еще в посте разборка, как я с чего поститься. Мысль эта кажется смешной, дикой большинству людей.

Помню, как с гордостью за свою оригинальность нападавший на аскетизм монашества евангелик говорил мне: мое христианство не с постом и лишениями, а на бифстексах. Христианство и добродетель вообще с бифстексом!

В нашу жизнь въелось столько диких, безнравственных вещей, особенно в ту низшую область первого шага к доброй жизни, – отношения к пище, на которое мало кто обращал внимания, – что нам трудно даже понять дерзость и безумие утверждения в наше время христианства или добродетели с бифстексом.

Ведь мы не ужасаемся перед этим утверждением только потому, что над нами случилось то необычное дело, что мы смотрим и не видим, слушаем и не слышим. Нет зловония, к которому человек бы не принюхался, нет звуков, к которым

бы не прислушался, безобразия, к которому бы не пригляделся, так что уже не замечает того, что поразительно для непривыкшего человека. Точно то же и в области нравственной. Христианство и нравственность с бифстексом!

На днях я был на бойне в нашем городе Туле. Бойня у нас построена по новому, усовершенствованному способу, как она устроена в больших городах, так чтобы убиваемые животные мучились как можно меньше. Это было в пятницу, за два дня до Троицы. Скотины было много.

Еще прежде, давно, читая прекрасную книгу «Ethics of Diet», мне захотелось побывать на бойне с тем, чтобы самому глазами увидать сущность того дела, о котором идет речь, когда говорят о вегетарианстве. Но всё совестно было, как всегда бывает совестно идти смотреть на страдания, которые наверное будут, но которых ты предотвратить не можешь, и я всё откладывал.

Но недавно я встретился на дороге с мясником, который ходил домой и теперь возвращался в Тулу. Он еще неискусный мясник, а его обязанность колоть кинжалом. Я спросил его, не жалко ли ему убивать скотину? И как всегда отвечают, он ответил: «Чего же жалеть? Ведь надо же». Но когда я сказал ему, что питание мясом не необходимо, то он согласился и тогда согласился, что и жалко. «Что же делать, кормиться надо», – сказал он. – «Прежде *боялся* убивать. Отец, тот в жизнь курицы не зарезал». – Большинство русских людей не могут убивать, жалеют, выражая это чувство словом

«*бояться*». Он тоже боялся, но перестал. Он объяснил мне, что самая большая работа бывает по пятницам и продолжается до вечера.

Недавно я также разговорился с солдатом, мясником, и опять точно так же он был удивлен моим утверждением о том, что жалко убивать; и, как всегда, сказал, что это положено; но потом согласился: «Особенно, когда смирная, ручная скотина. Идет сердешная, верит тебе. Живо жалко!»

Мы шли раз из Москвы, и по дороге нас подвезли ломовые извозчики, ехавшие из Серпухова в рощу к купцу за дровами. Был чистый четверг. Я ехал на передней телеге с извозчиком, сильным, красным, грубым, очевидно сильно пьющим мужиком. Въезжая в одну деревню, мы увидали, что из крайнего двора тащили откормленную, голую, розовую свинью бить. Она визжала отчаянным голосом, похожим на человеческий крик. Как раз в то время, как мы проезжали мимо, свинью стали резать. Один из людей полоснул ее по горлу ножом. Она завизжала еще громче и пронзительней, вырвалась и побежала прочь, обливаясь кровью. Я близорук и не видел всего подробно, я видел только розовое, как человеческое, тело свиньи и слышал отчаянный визг; но извозчик видел все подробности и, не отрывая глаз, смотрел туда. Свинью поймали, повалили и стали дорезывать. Когда визг ее затих, извозчик тяжело вздохнул. «Ужели ж за это отвечать не будут?» – проговорил он.

Так сильно в людях отвращение ко всякому убийству, но

примером, поощрением жадности людей, утверждением о том, что это разрешено богом, и главное привычкой, людей доводят до полной утраты этого естественного чувства.

В пятницу я пошел в Тулу и, встретив знакомого мне кроткого доброго человека, пригласил его с собой.

– Да, я слышал, что тут хорошее устройство, и хотел посмотреть, но если там бьют, я не войду.

– Отчего же, я именно это-то и хочу видеть! Если есть мясо, то ведь надо бить.

– Нет, нет, я не могу.

Замечательно при этом, что этот человек – охотник и сам убивает птиц и зверей.

Мы пришли. У подъезда уже стал чувствителен тяжелый, отвратительный гнилой запах столярного клея или краски на клею. Чем дальше подходили мы, тем сильнее был этот запах. Строение – красное, кирпичное, очень большое, со сводами и высокими трубами. Мы вошли в ворота. Направо был большой, в $^1/_4$ десятины, огороженный двор – это площадка, на которую два дня в неделю пригоняют продажную скотину, – и на краю этого пространства домик дворника; налево были, как они называют, ка̀моры, т. е. комнаты с круглыми воротами, с асфальтовым вогнутым полом и с приспособлением для подвешиванья и перемещения туш. У стены домика направо, на лавочке сидело человек шесть мясников в фартуках, залитых кровью, с засученными, забрызганными рукавами на мускулистых руках. Они с полчаса как кончили

работу, так что в этот день мы могли видеть только пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол был весь коричневый, глянцовитый, и в углублениях пола стояла сгущающаяся черная кровь.

Один из мясников рассказал нам, как бьют, и показал то место, где это производится. Я не совсем понял его и составил себе ложное, но очень страшное представление о том, как бьют, и думал, как это часто бывает, что действительность произведет на меня меньшее впечатление, чем воображаемое. Но в этом я ошибся.

В следующий раз я пришел на бойню во-время. Это было в пятницу перед Троицыным днем. Был жаркий июньский день. Запах клея, крови был еще сильнее и заметнее утром, чем в первое мое посещение. Работа была в самом разгаре. Вся пыльная площадка была полна скота, и скот был загнан во все загоны около камор.

У подъезда на улице стояли телеги с привязанными к грядкам и оглоблям быками, телками, коровами. Полки, запряженные хорошими лошадьми, с наваленными живыми, болтающимися свесившимися головами, телятами подъезжали и разгружались; и такие же полки с торчащими и качающимися ногами туш быков, с их головами, яркокрасными легкими и бурыми печенками отъезжали от бойни. У забора стояли верховые лошади гуртовщиков. Сами гуртовщики-торговцы в своих длинных сюртуках, с плетями и кнута-

ми в руках ходили по двору, или замечая мазками дегтя скотину одного хозяина, или торгуясь, или руководя переводом волов и быков с площади в те загоны, из которых скотина поступала в самые каморы. Люди эти, очевидно, были все поглощены денежными оборотами, расчетами, и мысль о том, что хорошо или нехорошо убивать этих животных, была от них так же далека, как мысль о том, каков химический состав той крови, которой был залит пол каморы.

Мясников никого не видно было на дворе, все были в каморах, работая. В этот день было убито около ста штук быков.

Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и, войдя в середину, я непременно измазался бы кровью. Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили к двери, третья – убитый вол лежал белыми ногами кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал растянутую шкуру.

Из противоположной двери той, у которой я стоял, в это же время вводили большого красного сытого вола. Двое тянули его. И не успели они ввести его, как я увидал, что один мясник занес кинжал над его шеей и ударил. Вол, как будто ему сразу подбили все четыре ноги, грохнулся на брюхо, тотчас же перевалился на один бок и забился ногами и всем задом. Тотчас же один мясник навалился на перед быка с

противоположной стороны его бьющихся ног, ухватил его за рога, пригнул ему голову к земле, и другой мясник ножом разрезал ему горло, и из-под головы хлынула черно-красная кровь, под поток которой измазанный мальчик подставил жестяной таз. Всё время, пока это делали, вол, не переставая, дергался головой, как бы стараясь подняться, и бился всеми четырьмя ногами в воздухе. Таз быстро наполнялся, но вол был жив и, тяжело нося животом, бился задними и передними ногами, так что мясники сторонились его. Когда один таз наполнился, мальчик понес его на голове в альбуминный завод, другой – подставил другой таз, и этот стал наполняться. Но вол всё так же носил животом и дергался задними ногами. Когда кровь перестала течь, мясник поднял голову вола и стал снимать с нее шкуру. Вол продолжал биться. Голова оголилась и стала красная с белыми прожилками и принимала то положение, которое ей давали мясники, с обеих сторон ее висела шкура. Вол не переставал биться. Потом другой мясник ухватил быка за ногу, надломил ее и отрезал. В животе и остальных ногах еще пробегали содрогания. Отрезали и остальные ноги и бросили их туда, куда кидали ноги волов одного хозяина. Потом потащили тушу к лебедке и там распяли ее, и там движений уже не было.

Так я смотрел из двери на второго, третьего, четвертого вола. Со всеми было то же: также снятая голова с закушенным языком и бьющимся задом. Разница была только в том, что не всегда сразу попадал боец в то место, от которого вол

падал. Бывало то, что мясник промахивался, и вол вскидывался, ревел, обливаясь кровью, рвался из рук. Но тогда его притягивали под брус, ударяли другой раз, и он падал. Я зашел потом со стороны той двери, в которую вводили. Тут я видел то же, только ближе и потому яснее. Я увидал тут главное то, чего я не видал из первой двери: чем заставляли входить волов в эту дверь. Всякий раз, как брали вола из загона и тянули его спереди на веревке, привязанной за рога, вол, чуя кровь, упирался, иногда ревел и пятился. Силой втащить двум людям его нельзя бы было, и потому всякий раз один из мясников заходил сзади, брал вола за хвост и винтил хвост, ломая репицу, так что хрящи трещали и вол подвигался.

Кончили волов одного хозяина, повели скотину другого. Первая скотина из этой партии другого хозяина был не вол, а бык. Породистый, красивый, черный с белыми отметинами и ногами, – молодое, мускулистое, энергическое животное. Его потянули; он опустил голову книзу и уперся решительно. Но шедший сзади мясник, как машинист берется за ручку свистка, взялся за хвост, перекрутил его, хрящи хрустнули, и бык рванулся вперед, сбивая тащивших за веревку людей, и опять уперся, косясь черным, налившимся в белке кровью глазом. Но опять хвост затрещал, и бык рванулся и уже был там, где и нужно было. Боец подошел, прицелился и ударил. Удар не попал в место. Бык подпрыгнул, замотал головой, заревел и, весь в крови, вырвался и бросился назад. Весь народ в дверях шарахнулся. Но привычные мясники с молодцова-

тостью, выработанной опасностью, живо ухватили веревку, опять хвост и опять бык очутился в каморе, где его притянули головой под брус, из-под которого он уже не вырвался. Боец примерился живо в то местечко, где расходятся звездой волосы, и, несмотря на кровь, нашел его, ударил, и прекрасная, полная жизни скотина рухнулась и забилась головой, ногами, пока ему выпускали кровь и свежевали голову.

– Вишь, проклятый чорт, и упал-то не куда надо, – ворчал мясник, разрезая ему кожу головы.

Через пять минут торчала уже красная, вместо черной, голова без кожи, с стеклянно-остановившимися глазами, таким красивым цветом блестевшими за пять минут тому назад.

Потом я пошел в то отделение, где режут мелкий скот. Очень большая камора, длинная с асфальтовым полом и с столами со спинками, на которых режут овец и телят. Здесь уже кончилась работа; в длинной каморе, пропитанной запахом крови, было только два мясника. Один надувал в ногу уже убитого барана и похлопывал его ладонью по раздутому животу; другой, молодой малый в забрызганном кровью фартуке, курил папироску загнутую. Больше никого не было в мрачной, длинной, пропитанной тяжелым запахом каморе. Вслед за мной пришел по виду отставной солдат и принес связанного по ногам черного с отметиной на шее молодого нынешнего баранчика и положил на один из столов, точно на постель. Солдат, очевидно, знакомый, поздоровался, завел

речь о том, когда отпускает хозяин. Малый с папироской подошел с ножом, поправил его на краю стола и отвечал, что по праздникам. Живой баран так же тихо лежал, как и мертвый, надутый, только быстро помахивал коротеньким хвостиком и чаще, чем обыкновенно, носил боками. Солдат слегка, без усилия придержал его подымающуюся голову; малый, продолжая разговор, взял левой рукой за голову барана и резнул его по горлу. Баран затрепыхался, и хвостик напружился и перестал махаться. Малый, дожидаясь, пока вытечет кровь, стал раскуривать потухавшую папироску. Полилась кровь, и баран стал дергаться. Разговор продолжался без малейшего перерыва.

А те куры, цыплята, которые каждый день в тысячах кухонь, с срезанными головами, обливаясь кровью, комично, страшно прыгают, вскидывая крыльями?

И, смотришь, нежная утонченная барыня будет пожирать трупы этих животных с полной уверенностью в своей правоте, утверждая два взаимно-исключающие друг друга положения:

Первое, что она, в чем уверяет ее ее доктор, так деликатна, что не может переносить одной растительной пищи и что для ее слабого организма ей необходима пища мясная; и второе, что она так чувствительна, что не может не только сама причинять страданий животным, но переносить и вида их.

А между тем слаба-то она, эта бедная барыня, только именно потому, что ее приучили питаться несвойственной

человеку пищей; не причинять же страданий животным она не может потому, что пожирает их.

X

Нельзя притворяться, что мы не знаем этого. Мы не страусы и не можем верить тому, что если мы не будем смотреть, то не будет того, чего мы не хотим видеть. Тем более этого нельзя, когда мы не хотим видеть того самого, что мы хотим есть. И главное, если бы это было необходимо. Но положим не необходимо, но на что-нибудь нужно? – Ни на что[3]. Только на то, чтобы воспитывать зверские чувства, разводить похоть, блуд, пьянство. Что и подтверждается постоянно тем, что молодые, добрые, неиспорченные люди, особенно женщины и девушки, чувствуют, не зная, как одно вытекает из другого, что добродетель не совместима с бифстексом, и как только пожелают быть добрыми, – бросают мясную пищу.

Что же я хочу сказать? То, что людям для того, чтобы быть нравственными, надо перестать есть мясо? Совсем нет.

Я хотел сказать только то, что для доброй жизни необходим известный порядок добрых поступков; что если стремление к доброй жизни серьезно в человеке, то оно неизбежно примет один известный порядок; и что в этом порядке

---

[3] Те, которые сомневаются в этом, пусть прочтут те многочисленные, составленные учеными и врачами, книги об этом предмете, в которых доказывается, что мясо не нужно для питания человека. И пусть не слушают тех старозаветных врачей, которые отстаивают необходимость питания мясом только потому, что это признавали очень долго их предшественники и они сами; отстаивают с упорством, с недоброжелательностью, как отстаивают всегда всё старое, отживающее.

первой добродетелью, над которой будет работать человек, будет воздержание, самообладание. Стремясь же к воздержанию, человек неизбежно будет следовать тоже одному известному порядку, и в этом порядке первым предметом будет воздержание в пище, будет пост. Постясь же, если он серьезно и искренно ищет доброй жизни, – первое, от чего будет воздерживаться человек, будет всегда употребление животной пищи, потому что, не говоря о возбуждении страстей, производимом этой пищей, употребление ее прямо безнравственно, так как требует противного нравственному чувству поступка – убийства, и вызывается только жадностью, желанием лакомства.

Почему именно воздержание от животной пищи будет первым делом поста и нравственной жизни, превосходно сказано, и не одним человеком, а всем человечеством в лице наилучших представителей его в продолжение всей сознательной жизни человечества. Но почему, если незаконность, т. е. безнравственность животной пищи так давно известна человечеству, люди до сих пор не пришли к сознанию этого закона? – спросят люди, которым свойственно руководиться не столько своим разумом, сколько общим мнением. Ответ на этот вопрос в том, что всё нравственное движение человечества, составляющее основу всякого движения, совершается всегда медленно; но что признак настоящего движения, не случайного, есть его безостановочность и постоянное его ускорение.

И таково движение вегетарианства. Движение это выражено и во всех мыслях писателей по этому предмету и в самой жизни человечества, всё больше и больше переходящего бессознательно от мясоедения к растительной пище, и сознательно – в проявившемся с особенной силой и принимающем всё бо̀льшие и бо̀льшие размеры движении вегетарианства. Движение это идет последние 10 лет, всё убыстряясь и убыстряясь: всё больше и больше с каждым годом является книг и журналов, издающихся по этому предмету; всё больше и больше встречается людей, отказывающихся от мясной пищи; и за границею с каждым годом, особенно в Германии, Англии и Америке, увеличивается число вегетарианских гостиниц и трактиров.

Движение это должно быть особенно радостно для людей, живущих стремлением к осуществлению царства божия на земле, не потому, что само вегетарианство есть важный шаг к этому царству (все истинные шаги и важны, и не важны), а потому, что оно служит признаком того, что стремление к нравственному совершенствованию человека серьезно и искренно, так как оно приняло свойственный ему неизменный порядок, начинающийся с первой ступени.

Нельзя не радоваться этому так же, как не могли бы не радоваться люди, стремившиеся войти на верх дома и прежде беспорядочно и тщетно лезшие с разных сторон прямо на стены, когда бы они стали сходиться, наконец, к первой ступени лестницы и все бы теснились у нее, зная, что хода на

верх не может быть помимо этой первой ступени лестницы.

Лев Толстой.

Комментарии Н. В. Горбачева

«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

Первое упоминание о замысле статьи находится в дневниковой записи Толстого от 11 мая 1890 г.: «Диета строгая нужна всем. Об еде – книга нужна».[4] Ту же мысль Толстой высказывает и в записи от 25 июня 1890 г.: «Еще думал: Надо бы написать книгу ЖРАНЬЕ. Валтасаров пир… Свиданья, прощанья, юбилеи. Люди думают, что заняты разными важными делами, они заняты только жраньем».[5]

В апреле 1891 г. Толстой получил от В. Г. Черткова книгу о вегетарианстве «The Ethics of Diet by Howard Williams M. A.» (Хауард Уильямс, «Этика пищи»), изданную в 1883 г. в Лондоне. В письме к Черткову от 29 апреля 1891 г. Толстой называет эту книгу «прекрасной, нужной», выражает желание «написать к ней предисловие», но уведомляет, очевидно на запрос Черткова, что дочери «не берутся переводить» ее.[6]

---

[4] Т. 51, стр. 42.

[5] Там же, стр. 53.

[6] Т. 87, стр. 84.

Однако в следующем письме Толстой сообщал, что «домашние ВЗЯЛИСЬ переводить» «Этику пищи», а сам он помогает в переводе.[7] 7 мая 1891 г. он писал жене из Ясной Поляны, что Мария Львовна «переводит вегетарьянск[ую] книгу не дурно».[8]

Задумав предисловие к книге Уильямса как статью «об обжорстве», Толстой читает с интересом литературу по этому вопросу – статью о постниках, присланную ему М. В. Алехиным,[9] статью А. Н. Бекетова «Питание человека в его настоящем и будущем», которую советует В. Г. Черткову издать в «Посреднике».[10]

Собирая материал для «предисловия», Толстой 6 июня 1891 г. посетил тульскую бойню и смотрел там на убой скота. О полученных впечатлениях он на следующий день сделал запись в Дневнике,[11] а впоследствии подробно рассказал в статье «Первая ступень» (гл. IX).

Статью о вегетарианстве, получившую в процессе работы название «Первая ступень», Толстой начал писать 25 июня 1891 г. В Дневнике в этот день он отмечает: «Еще ночью думал о предисловии к вегетар[ианской] книге, т. е. о воздер-

---

[7] Письмо к В. Г. Черткову от 6 мая 1891 г. – т. 87, стр. 85.

[8] Т. 84, стр. 79.

[9] Письмо Толстого к М. В. Алехину от 9 мая 1891 г. – т. 65.

[10] Письмо В. Г. Черткову от 15 мая 1891 г. – т. 87, стр. 92. Появившись впервые в 1878 г. в «Вестнике Европы», статья Бекетова в 1893 г. была переиздана «Посредником».

[11] Т. 52, стр. 38.

жании, и всё утро писал не дурно».[12] 30 июня 1891 г. была закончена черновая редакция статьи (см. опис. рук. № 1), в которую затем, до 13 июля, Толстой вносил многочисленные поправки и дополнения. 13 июля он отметил в Дневнике, что «написал статью об обжорстве».[13] 20? июля 1891 г. Толстой сообщал Черткову, что он «написал» предисловие к книге Х. Уильямса «Этика пищи», «написал всё – вышло довольно много»,[14] и тогда же И. И. Горбунову-Посадову, что «написал начерно всю статью об вегетарьянстве, обжорстве, воздержании».[15]

После этого работа над статьей была прервана и возобновилась только во второй половине августа. 27 августа 1891 г. Толстой записал в Дневнике, что «два дня поправлял статью об обжорстве – порядочно; но придется еще поправить».[16] Статья была закончена в последних числах августа и передана уезжавшему из Ясной Поляны П. И. Бирюкову, который 31 августа 1891 г. привез ее к Черткову (в Воронежскую губернию) для напечатания в сборнике «Собиратель» (задуманная Чертковым новая серия изданий «Посредника» для интеллигентных читателей).

В письме от 2 сентября 1891 г. Чертков предложил внести

---

[12] Там же, стр. 43,

[13] Там же, стр. 44,

[14] Т. 87, стр. 99.

[15] Т. 66, стр. 18.

[16] Т. 52, стр. 50.

в текст статьи несколько изменений, на которые Толстой согласился.[17] Позже, исправляя статью, присланную для просмотра Чертковым, Толстой видел его поправки и примечания и принял их (см. опис. рук. № 8).

В письме от 6 или 7 сентября Толстой послал Бирюкову дополнение к статье и просил это дополнение включить взамен написанного им ранее текста «о барыне». Дополнение должно было следовать в IX главе после фразы: «А те куры, цыплята, которые каждый день в тысячах кухонь, с срезанными головами, обливаясь кровью, комично, страшно прыгают, вскидывая крыльями!» (стр. 83, строки 11—9 сн.). Текст варианта был следующий: «Завтра нежная утонченная барыня будет пожирать труп этого быка с полной уверенностью в своей правоте, утверждая два взаимно исключающие друг друга положения: Первое, что она, в чем уверяет ее ее доктор, так деликатна, что не может переносить грубой пищи, а что для ее слабого организма ей необходимо хоть чашечку бульону и кусочек бифстека, и второе, что она так чувствительна, что не может не только сама причинять страданий животным, но переносить и вида их. А между тем, не говоря о том, что слаба она, эта бедная барыня, только именно п[отому], ч[то] ее приучили питаться несвойственной человеку пищей, и о том, что нельзя испытывать сострадание к существам, к[отор]ых пожираешь, несчастная барыня находится в том положении, что она для себя одной устроила

[17] Т. 87, стр. 104.

бы бойню, если бы ее не было, так как для существования ее необходимо убийство.

Запутанная обманами барыня эта, часто слышишь, сострадает той плохой пище, к[отор]ую получает бедный народ, и ужасается на жестокость этого грубого народа к животным. А между тем этот-то на плохой, т. е. растительной, пище воспитанный народ может жить без мясной пищи, бодро и весело работая на барыню и ей подобных, бьет скотину, только принуждаемый к этому нуждою, а сострадающая ему и ужасающаяся на его жестокость барыня есть хищное, но не простое, а коварное, лживое хищное животное, заставляющее других совершать те убийства, которыми она кормится».[18]

14 сентября 1891 г. В. Г. Чертков сообщил Толстому, что его письмо не застало Бирюкова, уехавшего в Женеву, а вставка «о барыне» переписана. В рукописи № 8 вариант «о барыне» (л. 51) сохранился неполностью (без конца).

По поводу этого варианта Чертков писал 30 сентября Толстому, что слова: «барыня есть хищное, но не простое, а коварное, лживое хищное животное, заставляющее других совершать те убийства, которыми она кормится» будут восприняты большинством читателей, как ругательство, и просил разрешения выпустить их.[19] Вариант «о барыне» был существенно изменен Толстым и на полях л. 51 рукописи он для

---

[18] См. т. 66, стр. 36.

[19] См. т. 87, стр. 107.

Черткова заметил: «Недаром я забыл то, что написал в этой прибавке: ужасная бестолковщина. Так выкинув конец, будет, я думаю, не так безобразно». В печати этот отрывок появился в исправленном Толстым виде.

В письме от 6? октября 1891 г. и в заметке на полях рукописи № 8 Толстой просил Черткова поместить в примечании к статье «Первая ступень» список «лучших книг о вегетарианстве»[20]. Такой список литературы в печати не появлялся, и неизвестно, был ли он составлен Чертковым.

Книга Х. Уильямса «Ethics of Diet» («Этика пищи»), которую в Ясной Поляне начали, но не закончили переводить дочери Толстого, была возвращена Черткову. Под его наблюдением книга была переведена несколькими лицами.

Так как издание сборника «Собиратель» не осуществилось, а перевод книги Уильямса еще не был закончен, Толстой в письме от 25 ноября 1891 г. к В. Г. Черткову предложил отдать статью «Первая ступень» в журнал «Вопросы философии и психологии», редактор которого Н. Я. Грот «очень просил ее».[21]

Статья была напечатана в «Вопросах философии и психологии», 1892, книга 13 (май).

По поводу печатного текста статьи Чертков писал Толстому 5 июня 1892 г., что из-за больших цензурных сокращений

---

[20] Там же, стр. 106.

[21] Там же, стр. 113.

статья «много потеряла в своей силе и правдивости».[22]

Насколько позволяет судить последняя сохранившаяся (не наборная) рукопись № 8, цензурой были изъяты высказывания Толстого о церковном христианстве, о высших классах, «поглощающих на свои прихоти в день сотни рабочих дней», и о рабочем народе – стариках, детях, женщинах, которые измучены «трудом, бессонными ночами, болезнями, проводят целые жизни, работая на нас те самые предметы комфорта, роскоши, которые они не имеют и которые для нас составляют излишество, а не необходимость». Ввиду отсутствия наборной рукописи и корректур устранить цензурные искажения не представляется возможным.

По первопечатному тексту статья «Первая ступень» была переиздана в 1893 г. «Посредником» для интеллигентных читателей в виде вступительной статьи к переводу книги Х. Уильямса «Этика пищи, или нравственные основы безубойного питания для человека» и в том же году включена в девятое издание «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» (том двенадцатый, стр. 517—550).

В настоящем издании статья печатается по тексту журнала «Вопросы философии и психологии», 1892, книга 13, стр. 109—144, с исправлением некоторых опечаток и ошибки переписчицы, явно не замеченной Толстым и перешедшей потом из рукописей в печатный текст. В рукописи № 8, л. 49 (авторская вставка на полях), читаем: «Малый, дожидаясь,

---

[22] Там же, стр. 151.

пока вытечет кровь, стал раскуривать потухавшую папиросу» (гл. IX, стр. 83, строки 15—14 сн.). Эта фраза ошибочно была переписана со словом: «потухшую», вместо: «потухавшую».

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1. Черновая редакция статьи (автограф) с первоначальным заглавием: «Забытая добродетель», зачеркнутым и переправленным Толстым на «Лестница добродетелей» и затем на «Первый шаг добродетелей». Пагинация рукой Толстого. 27 лл. в 4° и 1 л. F, заключенных в обложку с надписью М. Л. Толстой: «Предисловие к Ethics of Diet». Текст статьи разделен Толстым на 11 глав (последняя ошибочно помечена: «XII»). На обороте л. 28 рукой Толстого: «Л. Т. «Я[сная] П[оляна]. 1891. 30 июня».

2. Копия рукописи № 1 (с ошибками и пропусками) рукой Т. Л. и М. Л. Толстых, В. А. Кузминской и А. М. Новикова, с авторскими исправлениями. Заглавие «Первый шаг добродетели» исправлено Толстым на «Первая ступень». 66 лл. в 4°, заключенных в обложку с надписью рукой М. Л. Толстой: «Первая ступень. 26 август[а] 1891 года. Ясн[ая] Пол[яна]». *Начало:* <«Ничто не показывает…»>; *конец:* «начинается с первой ступени».

3. Копия рукой М. Л. и Л. Л. Толстых, В. А. Кузминской, П. И. Бирюкова и А. М. Новикова, с исправлениями Толсто-

го; является в значительной части копией рукописи № 2, но полностью не покрывает ее. Возможно, между второй и данной рукописями была еще рукопись, не дошедшая до нас, копией с которой и является настоящая рукопись. 61 лл. в 4°. *Начало:* «Если человек делает дело…»; *конец:* «помимо первой ступени лестницы. Л. Т.».

4—7. Разрозненный рукописный материал, с авторскими исправлениями. Копии переписаны рукой М. Л. Толстой и А. М. Новикова, автографы в рукописях №№ 4, 6 (2 лл. в 4°) – дополнения к статье. Всего в рукописях 7 лл. в 4°. *Начало рукописи № 4:* «Казалось бы должно быть очевидным…»; *конец рукописи № 7:* «и только в одной определенной последовательности».

8. Копия с рукописи № 3 рукой М. В. Сяськовой, Е. И. Попова, М. Л. Толстой и В. Г. Черткова, с исправлениями Толстого. К нескольким листам, содержащим обширные авторские поправки, приложены копии с них, снова исправленные Толстым. 55 лл. в 4°. На лл. 18, 19, 22, 36, 51 поправки В. Г. Черткова, на лл. 24, 25 им сделаны на полях два замечания, согласно которым Толстой внес в текст соответствующие изменения. На обороте л. 52 в сноске – пометка Толстого о том, чтобы «здесь вписать лучшие книги» о вегетарианстве, составленные учеными и врачами. *Начало:* «Если человек делает дело…»; *конец:* «хода наверх не может быть помимо первой ступени лестницы».

Рукопись № 8 не является окончательной редакцией ста-

тьи: печатный текст в ряде мест отличается от нее. Очевидно, Толстой вносил исправления в несохранившуюся рукопись или в корректуры.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

В настоящем томе печатаются художественные и публицистические произведения Л. Н. Толстого за 1891—1894 годы. Среди них – рассказы «Хозяин и работник», статьи о голоде, «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова», неоконченные художественные произведения: «Кто прав?», «Мать», «Петр Хлебник» и др. Идейная проблематика большинства вошедших в этот том работ Л. Толстого непосредственно связана с вопросами, возникшими в жизни России в связи с охватившим страну в 1891—1893 годы голодом.

Голод был одним из проявлений крайнего обострения социальных противоречий, особенно резко обозначившихся в России в 90-е годы. В. И. Ленин писал в 1902 году в статье «Признаки банкротства»: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности… С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой… Государственный

строй, искони державшийся на пассивной поддержке миллионов крестьянства, привел последнее к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не в состоянии прокормиться»[23].

1891—1894 годы явились значительным этапом в жизни и творчестве Л. Толстого. Именно в эти годы он особенно ясно осознал социальные причины тяжелого положения трудового народа. В эти годы он пришел к несомненному выводу, что долго строй насилия и угнетения продержаться не может, что «дело подходит к развязке». «Какая будет развязка, – писал он 31 мая 1892 года Г. А. Русанову, – не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, – я уверен»[24].

Толстой не увидел пути, который должен был привести к этой «развязке». Не революционная борьба масс за свои права, а добровольный отказ господствующих классов от привилегированного положения представлялся ему средством спасения от всех социальных зол. В этом сказалась слабость Толстого, выразителя взглядов политически отсталого патриархального крестьянства. Но величайшей заслугой писателя остается то, что «он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное

---

[23] В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 66—67.

[24] Т. 66, стр. 224.

чувство протеста и негодования»[25]. Это стихийное чувство протеста многомиллионных масс крестьянства против помещичье-капиталистического гнета, малоземелья, податной зависимости, против темноты и забитости, экономического и политического бесправия с огромной силой и искренностью выразил Толстой в произведениях, созданных им в период 1891—1894 годов.

[25] В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 293—294.

I

В творчестве Толстого 1891—1894 годов центральное место принадлежит публицистике. К этому времени относятся широко известные статьи о голоде, которые явились горячим откликом писателя на всенародное бедствие.

Чтобы вполне понять и оценить все значение общественной и писательской деятельности Толстого этого времени, необходимо иметь ясное представление о той обстановке, в какой ему приходилось писать и действовать.

Уже летом 1891 года в газетах стали появляться тревожные известия из различных губерний России о надвигающемся голоде. Однако ни правительство, ни земства, ни официальная печать не проявляли беспокойства. В одной из статей августовской книжки консервативного журнала «Русский вестник» сообщалось: «Теперь недород хлебов поразил более десяти губерний, и никому не приходит в голову мысль о непосильности для государства борьбы с голодом… Печать исполняет свою обязанность, спокойно обсуждая меры необходимой помощи». Либерально-народническая «Русская мысль» так же «спокойно обсуждала меры необходимой помощи» и все свои упования и надежды возлагая на «чуткость» правительства. «Русские ведомости», в свойственном им тоне «умеренности и аккуратности», тоже старались не «пугать» общественное мнение надвигающим-

ся голодом и горячо протестовали против запрещения вывоза хлеба за границу. Даже в ноябре 1891 года, когда многие губернии охватил жесточайший голод, «Русская мысль» оптимистически утверждала: «Итак, нет причины отчаиваться и опускать руки; пусть только пойдут широким руслом частные пожертвования – и наиболее острый кризис без особого труда будет осилен».

Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, возглавлялись помещиками и интеллигентами, настроенными либерально, а часто и консервативно. Они не только не требовали от правительства серьезной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами «сокращали едоков» – число крестьян, нуждающихся в продовольственной или денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно преувеличенными или излишними и эти урезанные требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней.

Отношение Толстого к средствам борьбы с голодом, в котором он видел огромное народное бедствие, было крайне сложным и противоречивым. С глубоким возмущением отнесся он к лицемерному обсуждению мер помощи народу, ограбленному и доведенному до крайней нужды теми самыми людьми, которые теперь собирались «опекать» своих «меньших братьев». В Дневнике он записывает: «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно. Люди, не думавшие о дру-

гих, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие – высказаться, или страх; но добра нет»[26]. Толстой отвергает, как нелепую, мысль о возможности прокормить народ за счет подачек богачей.

Вместе с тем, всецело в духе своего утопического и реакционного религиозно-нравственного учения, он надеется, что достаточно написать или сделать то, что смогло бы «тронуть сердца богатых»[27], как совершится чудо: отказавшись от своих привилегий, сытые с раскаянием и любовью придут к своим голодным «братьям».

Глубоко сочувствуя народу, Толстой с тревогой следил за тем, что происходило в охваченных голодом деревнях. Положение народа становилось все более тяжелым и безысходным, а правительственная и земская помощь неспособна была что-либо изменить.

В сентябре 1891 года Толстой объезжает ряд деревень Тульской и Рязанской губерний и близко знакомится с народной нуждой. Голодных крестьян, у которых нет вдоволь даже хлеба с лебедой, огромное число нищих, развалившиеся дома, отсутствие топлива, и все это рядом с довольством помещичьих усадеб – нашел Толстой во всех деревнях. Возвратившись в Ясную Поляну, он начал работать над статьей «О голоде», в которой собирался рассказать подлинную правду обо всем, что видел: о крестьянской нужде, помещи-

---

[26] Т. 52, стр. 43.

[27] Письмо к Н. С. Лескову от 4 июля 1891 г. – т. 66, стр. 12.

чьей роскоши, преступном равнодушии «верхов» к народу и о ничтожности правительственной и земской помощи.

Под впечатлением невыносимых страданий народа Толстой приходит к мысли, что нельзя ждать, пока господа раскаются в своем «грехе». Он убеждается, что в существующих условиях, если не оказать народу помощи, тысячи людей будут умирать от голода и болезней, не возбудив и тени сострадания у господствующих классов. И Толстой решает заняться организацией помощи голодающим. С этой целью он в октябре 1891 года поселяется в имении своего друга И. И. Раевского Бегичевке Рязанской губернии. Вместе со своими помощниками он устраивает в окрестных деревнях многочисленные столовые для крестьян и их детей, собирает и распределяет пожертвования, организует медицинскую помощь. «…Не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать»[28], – пишет он в это время Н. Н. Ге.

Деятельное участие Толстого в помощи голодающим и его статьи этого периода, полные гнева к эксплуататорам и горячей любви к народу, навсегда останутся свидетельством глубокой и кровной связи великого писателя с народом.

Статьи Толстого о голоде можно разделить на две группы. Одна – это статьи «О голоде»[29], «Заключение к последнему

---

[28] Т. 66, стр. 81.

[29] Газета «Московские ведомости», перепечатав в 1892 году отрывок из этой статьи в переводе с английской публикации, назвала ее «Письма о голоде», очевидно приняв статью за цикл писем, посланных Толстым в иностранные газеты. Под этим произвольным названием статья перепечатывалась в последующих из-

отчету о помощи голодающим», «Голод или не голод?» [30]. В них писатель ставит коренные, общие вопросы, возникшие в связи с голодом, показывает во всей неприглядности тяжкую долю народа, с беспощадной резкостью критикует современный общественный порядок, выдвигает требования, которые, по его мнению, необходимо удовлетворить, чтобы не было голодовок, постоянной нищеты и вымирания русского крестьянства. Эти статьи представляют наибольший интерес, хотя именно в них со всей остротой проявляются поистине кричащие противоречия взглядов Толстого: обличение существующего строя и вместе с тем незнание подлинных путей его изменения, проповедь нравственного совершенствования и непротивления злу насилием.

Другая группа – это статьи «Страшный вопрос», «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», непосредственно связанные с практической деятельностью Толстого во время голода, отчеты об израсходовании пожертвованных денег. В этих статьях писатель рассказывал о своей работе и работе своих помощников по борьбе с голодом и обращался к прогрессивной части русского общества с призывом воспользоваться его опытом. В них он настойчиво требовал широкой организации бесплатных столовых

даниях. В настоящем томе восстанавливается подлинное название статьи.

[30] Статья «Голод или не голод?» была написана в 1898 году, когда в России снова разразился голод и Толстой, как и в 1891—1893 годах, принимал участие в помощи голодающим. Она чрезвычайно тесно связана тематически со статьями о голоде 1891—1893 годов, поэтому помещается в настоящем томе.

для крестьян как наиболее действенной формы помощи голодающим.

В обличительном пафосе статей Толстого о голоде ярко отразились настроения многомиллионного русского крестьянства, у которого «века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости»[31].

Правда о русской деревне, рассказанная Толстым в статье «О голоде», обличала эксплуататорский строй царской России. Это была та правда, которую тщательно старались скрыть и консервативные, и либеральные защитники существующих порядков. В своей статье Толстой указывает, что хищническим хозяйничаньем помещиков и капиталистов крестьяне доведены до крайней нужды и разорения. Уже в самом начале осени, рассказывает писатель, в одной из деревень Ефремовского уезда «из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда». Толстой на основании многочисленных фактов утверждал, что в таком положении постоянно, а не только в голодный год находятся миллионы крестьян России. Он разоблачает клевету господствующих классов, будто народ голоден оттого, что ленив, пьянствует, дик и невежествен. Народ голоден оттого, что его душат малоземелье,

---

[31] В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.

подати, солдатчина, что «распределение, производимое законами о приобретении собственности, труде и отношениях сословий, неправильно». Улучшить положение народа можно, по мысли Толстого, лишь тем, чтобы перестать грабить и обманывать его. А взять у господ часть их богатств и раздать голодающим – все равно, что заставить паразита кормить то растение, которым он питается. «Мы, высшие классы, живущие все *им,* не, могущие ступить шагу без *него,* мы *его* будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное», – восклицает Толстой. Именно эти слова Толстого имел в виду В. И. Ленин, когда в статье «Признаки банкротства» писал: «В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, нелепая идея»[32].

В статье «О голоде» Толстой беспощадно разоблачает лицемерие эксплуататорских классов, которые делают вид, что озабочены голодом, встревожены положением народа, а в действительности более чем равнодушны к совершающемуся бедствию и стараются всеми средствами еще сильнее закабалить крестьян. Писатель гневно обнажает подлинную сущность происходящего, показывает, что между эксплуататорами и народом нет иных отношений, кроме отношений господина и раба. «Не говоря о фабричных поколениях, гибнущих на нелепой, мучительной и развращающей работе фаб-

---

[32] В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 67.

рик для удовольствия богатых, – пишет Толстой, – всё земледельческое население, или огромная часть его, не имея земли, чтобы кормиться, вынуждено к страшному напряжению работы, губящей их духовные и физические силы, только для того, чтобы господа могли увеличивать свою роскошь. Всё население спаивается, эксплуатируется торговцами для этой же цели. Народонаселение вырождается, дети преждевременно умирают, всё для того, чтобы богачи – господа и купцы жили своей отдельной господской жизнью, с своими дворцами и музеями, обедами и концертами, лошадьми, экипажами, лекциями и т. п.».

Однако в статье «О голоде», как и в других произведениях, Толстой высказывает иллюзорную надежду, что господа могут добровольно «перестать делать то, что губит народ», возвратить награбленное, изменить свою жизнь и тем самым разорвать кастовую черту, отделяющую их от народа. Он обращается к «высшим классам» с призывом: отнестись к народу «не только как к равным, но к лучшим нашим братьям, таким, перед которыми мы давно виноваты», прийти к ним «с раскаянием, смирением и любовью», поступить подобно мученику Петру, который, раскаявшись в своем жестокосердии, отказался от всего богатства и сам продался в рабство[33]. Так решение глубоко поднятых и со всей резкостью постав-

---

[33] Несомненно, что в непосредственной связи с мыслями и переживаниями Толстого во время голода находится тот факт, что он принялся в 1894 году, после длительного перерыва, за обработку легенды о Петре Хлебнике.

ленных в статье «О голоде» социальных вопросов Толстой переводит в плоскость отвлеченных рассуждений о «грехе», «братской любви» и т. п.

Занимаясь помощью голодающим, Толстой еще больше убедился в том, что причина бедственного положения народа – не в неурожае, а в самой системе угнетения меньшинством эксплуататоров огромного большинства трудящегося народа. Подводя итоги всему тому, что он видел во время голода, Толстой в «Заключении к последнему отчету о помощи голодающим» снова указывает, что связь роскоши одних с лишениями и страданиями других очевидна, что народ вымирает от непосильной работы и постоянного недостатка пищи. Толстой утверждает здесь, как и позднее в романе «Воскресение», «что люди, которые служат правительству, делают это не для блага народа, который не просит их об этом, а только потому, что им нужно жалованье; и что люди, занимающиеся науками и искусствами, занимаются ими не для просвещения народа, а для гонорара и пенсии; и люди, удерживающие от народа землю и возвышающие на нее цены, делают это не для поддержания каких-либо священных прав, а для увеличения своего дохода, нужного им для удовлетворения своих прихотей».

Превосходно зная истинное положение русской деревни, Толстой понимал, что голод и в последующие годы не перестанет душить нищую, обездоленную русскую деревню. И если господствующие классы будут молчать «про нужду, холод

и голод, вымирание замученных работой взрослых и недоедающих старых и малых сотен тысяч людей», как это было в 1891—1892 годах, то лишь для того, чтобы скрыть истину и не возбуждать общественного мнения.

Вместе с тем, вступая в противоречие со своей трезвой оценкой действительного отношения господ к народу, вопреки тому, что он наблюдал во время голода, Толстой и эту статью заключает призывом к богатым раскаяться, отречься от «ложного» христианства и признать «истинное».

90-е годы были временем бурного развития в России капитализма и крайнего обнищания, ограбления, вымирания народа. По поводу этого десятилетия в экономической жизни России В. И. Ленин писал в 1901 году: «Не одно только разорение, а прямое вымирание русского крестьянства идет в последнее десятилетие с поразительной быстротой, и, вероятно, ни одна война, как бы продолжительна и упорна она ни была, не уносила такой массы жертв»[34].

В 1898 году в России вновь разразился голод. Снова повторилось то, что было в 1891—1892 годах, лишь с той разницей, что царское правительство, напуганное ростом революционного движения, особенно настойчиво пыталось доказать, что голода нет, и усилило репрессии по отношению к тем, кто пытался организовать помощь народу. Голод 1898 года особенно наглядно доказал «одну старую истину», о которой в 1901 году Ленин писал в статье «Борьба с голо-

---

[34] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 231.

дающими»: «…полицейское правительство боится всякого соприкосновения с народом сколько-нибудь независимой и честной интеллигенции, боится всякого правдивого и смелого слова, прямо обращенного к народу, подозревает – и подозревает совершенно справедливо, – что одна уже забота о действительном (а не мнимом) удовлетворении нужды будет равносильна агитации против правительства, ибо народ видит, что частные благотворители искренно хотят ему помочь, а чиновники царя мешают этому, урезывают помощь, уменьшают размеры нужды, затрудняют устройство столовых и т. д. »[35].

В статье «Голод или не голод?», относящейся к 1898 году, Толстой с негодованием пишет о тех препятствиях, которые чинят представители власти делу помощи голодающим. Столовые нельзя открывать без разрешения губернатора, без соглашения с местным попечительством, без особого обсуждения вопроса о каждой новой столовой с земским начальником. Кроме того, без санкции губернатора запрещено всем не местным жителям участвовать и помогать в устройстве столовых. Практически все это означало полное запрещение помощи голодающему народу. «Так что, – пишет Толстой, – несмотря на несомненную нужду народа, несмотря на средства, данные жертвователями для помощи этой нужде, дело наше не только не может расшириться, но находится в опасности быть совершенно прекращенным».

---

[35] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 216—217.

Царское правительство и реакционная печать всеми средствами стремились доказать, что голода нет и народ благоденствует, опекаемый «отцами» – помещиками и «батюшкой» царем. Разоблачая эти утверждения, Толстой пишет в статье «Голод или не голод?»: «Голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и всё усиливается… Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: «Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка».

И Толстой формулирует требования, которые, по его мнению, необходимо выполнить, чтобы прекратились постоянные голодовки русского крестьянства. «…Нужно, не говорю уже уважать, – пишет он, – а перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним, как с животным, нужно дать ему свободу исповеданья, нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, а не произволу земских начальников; нужно дать ему свободу ученья, свободу чтенья, свободу передвижения и, главное, снять то позорное клеймо, которое лежит на прошлом и теперешнем царствовании – разрешение дикого истязания, сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии крестьян».

Именно эти требования выдвинул Толстой и в начале 900-х годов, выступая от имени «большинства людей русского народа», в своем письме к Николаю II и статье-обращении «Царю и его помощникам». Именно эти требования отра-

жали интересы миллионов русского крестьянства накануне первой революции в России. С другой стороны, именно связью с настроениями политически отсталого патриархального крестьянства объясняется тот факт, что и в 1898 году, и позднее, накануне и во время революции 1905 года, Толстой не знал подлинных путей борьбы за насущные права трудового народа. Поэтому и в статье «Голод или не голод?» он все надежды возлагал на «братское единение людей» независимо от их классовой принадлежности.

Очевидно, насколько наивны и утопичны упования Толстого на «смирение» богатых. Но не в них состоит основное содержание и значение его статей о голоде. Основной смысл и сила этих статей заключается в беспощадно резком обличении всех порядков самодержавной России. Недаром цензура запретила печатание статьи «О голоде» и лишь после бесконечных мытарств статью удалось опубликовать, да и то в безобразно изуродованном виде. Недаром с бешеной злобой обрушилась на Толстого охранительная печать и все блюстители порядка, когда «Московские ведомости» провокационно перепечатали выдержки из статьи «О голоде».

«Московские ведомости», орган наиболее реакционных слоев помещиков и духовенства, грубой и откровенной бранью «комментировали» статью Толстого. «Письма Толстого… являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя, – писала газета. – Пропаганда графа есть про-

паганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда». И действительно, хотя Толстой был далек в статье «О голоде» от призывов к революции, объективно статья играла революционизирующую роль. По свидетельству советника при министре иностранных дел В. Н. Ламздорфа, прокламации, захваченные тогда полицией, «находились в прямой связи с мыслями, высказанными Толстым. Это доказало действительную опасность письма. В связи с этим в городе было произведено несколько обысков»[36].

Газетам было приказано не перепечатывать статьи из «Московских ведомостей» и даже не комментировать ее. При дворе стали поговаривать о заточении Толстого в тюрьму Суздальского монастыря или заключении в дом для умалишенных. Министр внутренних дел Дурново, делая доклад Александру III, заявил, что «письмо» Толстого «по своему содержанию должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям», но, принимая во внимание, что «привлечение в настоящее время графа Толстого к ответственности может повлечь нежелательное смятение в умах», рекомендовал ограничиться предупреждением автору «статей противоправительственного направления»[37].

---

[36] В. Н. Ламздорф, Дневник, изд. «Academia», М. – Л. 1934, стр. 261.

[37] Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, М. – Л. 1936, стр. 465.

Враждебно была встречена правительственными кругами и вторая статья Толстого о голоде – «Страшный вопрос». За опубликование ее министр внутренних дел сделал газете «Московские ведомости» предупреждение, как позднее и газете «Русь» за помещение статьи «Голод или не голод?». «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим» было запрещено цензурой и опубликовано лишь в 1896 году за границей.

Однако никакие запреты и преследования не могли заглушить голос Толстого-обличителя. Сознавая свою глубокую правоту защитника угнетенного многомиллионного народа и обличителя праздных тунеядцев, Толстой писал по поводу шумихи, поднятой вокруг статьи «О голоде» в реакционной печати и правительственных кругах: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уже 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет… То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещенного я честного во всем мире»[38].

---

[38] Т. 84, стр. 128.

II

Социальные противоречия русской жизни, особенно резко обозначившиеся во время голода 1891—1892 годов, определили идейное содержание и художественных произведений Толстого. Изображение контраста жизни народа и господ становится основной темой его творчества в 90-е годы. Это относится к таким произведениям, как рассказы «Кто прав?» (1891) и «Хозяин и работник» (1894—1895), вошедшим в настоящий том, и особенно к роману «Воскресение», который был задуман и начат в конце 80-х годов, но в основном создавался в 1895—1899 годы, под непосредственным впечатлением того, что наблюдал Толстой во время голода 1891—1892 и 1898 годов.

Рассказ «Кто прав?» Толстой начал писать вскоре по приезде в Бегичевку. Страшные картины, резкие контрасты, которые писателю приходилось наблюдать во время голода, определили содержание рассказа. Все персонажи, сцены, диалоги даются в рассказе в резком социальном противопоставлении. Оборванная женщина с сумой, в разбитых лаптях, и барыня, восхищающаяся своими заграничными туфлями. Замученный нищий мужик, продающий последнего барана, чтобы купить детям хлеб, и сытые тунеядцы, развлекающиеся светской болтовней, флиртом и планами предстоящей охоты. Через весь рассказ проходит мысль о глубоком

отчуждении господ от народа, о полном их равнодушии к его нуждам и интересам.

Рассказ не был закончен. Судя по эпиграфу и по тому, что в Дневнике Толстой называет его постоянно «О детях», писатель хотел поставить в рассказе вопрос: кто прав – дети, которые забывают о том, что они «господа», беззаветно отдаются помощи голодающему народу и входят в непосредственное общение с ним, или их родители, пытающиеся свести все к расчетливой и «приличной» благотворительности. Как и в статьях о голоде, Толстой в этом рассказе намерен был осудить господ, равнодушных к народу и прикрывающих это равнодушие лицемерной маской заботы о «меньшом брате». Когда С. А. Толстая, прочитав начало рассказа, писала: «Разумеется, ясно, к чему клонит рассказ; и ты, видно, хочешь, чтоб виноватых не было»[39], Толстой отвечал: «Ты не угадала… к чему клонит»[40]. Несомненно, что писатель намеревался ввести в рассказ мотив «виновности» господ.

В 1895 году, обратившись к рассказу «Кто прав?», Толстой решил коренным образом переделать его. Он пришел к выводу, что конфликт детей и родителей – не столь значителен по сравнению с основным конфликтом эпохи – между истощенными от голода, крестьянами и живущими в роскоши и довольстве паразитическими классами. «…Ясно понял, отчего у меня не идет Воскресенье. Ложно начато. Я по-

---

[39] С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, М. – Л. 1936, стр. 468.

[40] Т. 84, стр. 104.

нял это, обдумывая рассказ О детях – Кто прав, – записывает Толстой в Дневнике, – я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то тень, то отрицательное»[41]. Вероятно потому, что картина тяжкого положения народа была во всей полноте развернута в «Воскресении», Толстой, увлекшись работой над романом, оставил мысль о переделке рассказа «Кто прав?».

Зимой 1891/92 года в Бегичевке был задуман и рассказ «Хозяин и работник»[42].

Знание народной жизни, деревенского быта позволили Толстому создать в этом рассказе глубочайшие по силе типического обобщения образы бездомного Никиты и «хозяйственного» Брехунова. Трезвый и зоркий наблюдатель жизни русской деревни, Толстой раскрывает подлинную причину богатства хозяина и нищеты работника. «Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки». Рабство капиталистическое ложится на плечи трудового народа еще более тяжким бременем, чем крепостное право. Об этом ужасающем положении крестьянства Толстой, спустя два года по окончании «Хозяина и работника», записал в Дневнике: «Как Гюливера, привязали мужика волосками в Европе, у нас бечевками.

---

[41] Т. 53, стр. 69.

[42] См. в наст. томе историю писания и печатания «Хозяина и работника».

Прежде было рабство – цепь. Она была видна, а теперь волоски. Так опутали его, что он сам защищает своих врагов высасывателей. Ужасно это видеть»[43].

Постоянно обманывая, обирая работника, хозяин не перестает твердить: «Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю». И забитый, приученный рабской жизнью к терпению крестьянин не протестует, хотя очень хорошо понимает, что Василий Андреич обманывает его. Но он чувствует, «что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают». А другого места нет; да и хозяева всегда и везде одинаковы.

Противопоставляя хозяина и работника, эксплуататора и эксплуатируемого, Толстой все симпатии отдает батраку Никите, представителю трудящегося народа.

Никита трудолюбив, ловок и силен в работе. В рассказе много раз подчеркивается, что он работает весело, охотно, бодро. У него «добрый, приятный характер»; в обращении с людьми он всегда ласков (характерные для его речи выражения: «душа милая», «голубок»). В противоположность Никите хозяин – грубый, самодовольный и неумный человек.

В дороге Брехунов занят мыслью о предстоящей выгодной покупке, о барышничестве и пытается уговорить Никиту купить никуда негодную лошадь.

В опасности Никита оказывается смелее и сметливее Брехунова, он действует спокойно и решительно, и хозяин под-

---

[43] Т. 53, стр. 317.

чиняется его авторитету, что не мешает ему, однако, осуждать «необразованность и глупость мужицкую».

Хищничество и самодовольство Брехунова, прикрытые благовидной маской: «мы по чести», беспощадно разоблачаются Толстым, более беспощадно, чем, например, мошенничество купца Рябинина в «Анне Карениной», ибо сам делец стал наглее и циничнее. Кроме того, Толстой рассматривает теперь последствия «деятельности» таких предпринимателей, как Брехунов, с точки зрения интересов многомиллионных масс трудящегося крестьянства. В ярком, сильном, искреннем протесте писателя против Брехунова отразились горечь и обида, невыраженный протест «смиренного» Никиты, всего патриархального крестьянства, обираемого Брехуновыми.

Но, как и во всем творчестве Толстого позднего периода, «беспощадная критика капиталистической эксплуатации» сочетается в «Хозяине и работнике» с «юродивой проповедью «непротивления злу» насилием»[44].

Писатель стремится доказать в рассказе, что смирение и покорность – естественные, истинно привлекательные, «христианские» качества работника Никиты, и всячески поэтизирует их.

Центральным является в рассказе заключительный эпизод, когда хозяин и работник, не надеясь найти дорогу, решили заночевать в поле. Возможность смерти во всей ее ре-

---

[44] В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.

альности представилась обоим. Никите мысль о смерти не была «особенно неприятна… потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была непрестающей службой, от которой он начинал уставать». Мысль о смерти не страшна была Никите, по словам Толстого, и оттого, что «он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит». Василию Андреичу мысль о смерти показалась страшной.

Толстой, однако, не останавливается на этом противопоставлении. Писателю-моралисту, проповеднику теории нравственного «просветления», было необходимо привести Брехунова к той вере, которая была, по мнению Толстого, главным источником спокойствия Никиты перед лицом смерти. Как свидетельствуют черновые рукописи. Толстой особенно много трудился именно над этими последними главами рассказа. В первоначальном наброске, написанном в духе «народных рассказов», «просветление» Брехунова было показано как некое умилительное чудо[45].

По мере работы над рассказом все резче очерчивался социальный контраст хозяина и работника, слишком очевидным становилось противоречие «трезвого реализма» первой части рассказа и надуманности, неубедительной декларативности второй. Художник Толстой не мог не почувствовать

---

[45] См. наст. том, стр. 304.

этого противоречия. Стремясь его смягчить, он в одном из последующих вариантов мотивирует «просветление» Брехунова уже не мгновенным божественным озарением, а гуманным побуждением – желанием спасти замерзающего Никиту. Но добрые чувства были настолько чужды всему облику Брехунова, что и в такой трактовке финал рассказа продолжал звучать неубедительно.

В окончательной редакции Толстой приближается к реалистическому толкованию этого эпизода. Брехунов спасает Никиту, движимый в большой мере эгоистическим чувством самосохранения. Но в описании последних минут жизни Брехунова писатель попрежнему сохраняет торжественно мистический элемент (фантастический сон, божественный голос), нарушающий реалистическую ткань повествования. В угоду своей идеалистической и реакционной идее о том, что человек, познавший бога и христианскую любовь, способен преодолеть свою социальную природу и стать для бедняка «братом во Христе», писатель рисует смерть Брехунова как акт нравственного перерождения.

Брехунов, как и все «прозревшие» герои Толстого, умирает, не переступив порога новой жизни. Изображение дальнейшей жизни этих людей не могло не обнаружить мнимости их перерождения, показало бы победу собственнических отношений над иллюзорной верой писателя, вскрыло всю наивность и неосновательность его социально-философской

концепции[46].

В рассказе «Хозяин и работник» отчетливо проявляются характерные черты художественной манеры позднего Толстого.

Обыкновенного, заурядного человека писатель исключает из обыденно-прозаической действительности и ставит его в такое положение, которое дает ему возможность увидеть себя и свою жизнь в новом свете. (Неожиданная мучительная и смертельная болезнь чиновника Ивана Ильича, убийство добропорядочным дворянином Позднышевым своей жены, смерть в лесу замерзающего купца Брехунова.) Такая нарочитая драматизация ситуации позволяет Толстому с особой силой и глубиной сорвать «все и всяческие маски» с традиционных, установившихся общественных и личных отношений.

В то же время «исключительное положение» героя нужно Толстому для утверждения, что спасение от противоречий реальной жизни, от социального зла – в нравственном просветлении.

Одна из особенностей таланта Толстого – способность к

---

[46] Ярким доказательством этого служит творческая история романа «Воскресение». В конце романа Толстой приводит Нехлюдова, как и Брехунова, к нравственному «воскресению» и заявляет, что с этого момента началась у Нехлюдова иная, новая жизнь. Однако позднее, когда Толстой задумал продолжение «Воскресения» – о «крестьянской жизни» Нехлюдова, он так наметил в Дневнике 1904 года план этой своей работы: «…Захотелось написать 2-ю часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка, и всё на фоне робинзоновской общины» (т. 55, стр. 66).

тонкому психологическому анализу, умение раскрыть «диалектику души». Однако психологический анализ в поздних произведениях Толстого отличается большим своеобразием.

Психический процесс интересует теперь писателя лишь в том случае, если он является следствием душевной неудовлетворенности, борьбы, сомнений, ведущих к коренному перелому взглядов, представлений, поведения героя. Катастрофа, драматическое событие, благодаря которым начинается нравственное просветление героя, становится необходимым, центральным элементом сюжета. Именно поэтому в «Хозяине и работнике» психологический анализ сосредоточен на самом главном, с точки зрения автора, «переломном» эпизоде – последних мгновениях жизни Брехунова.

Повторение характерной детали, свойственное художественной манере Толстого, широко используется в «Хозяине и работнике» как средство типизации характера, выразительности портрета, речи персонажа, психического состояния, явления природы и т. д.

Описание метели, например, достигает необычайно сильного эмоционального впечатления благодаря повторяющемуся упоминанию об отчаянно треплющемся на ветру замерзшем белье, страшно гудевших лозинах, одиноком чернобыльнике.

Постоянно упоминаются в рассказе выпуклые, ястребиные глаза Брехунова, легкая, бодрая походка «гусем ступающих ног» Никиты; в речи Брехунова повторяются слова: «мы

по чести», в речи Никиты – «душа милая», являясь примером поразительного умения Толстого удачно найденной деталью раскрывать существенные черты человеческой индивидуальности.

Среди других художественных произведений, вошедших в настоящий том, наибольший интерес представляет незаконченная повесть «Мать» (1891). Замысел ее связан с обострившимся в конце 80-х годов интересом Толстого к проблеме семьи и воспитания детей, которая была поставлена им как часть большого, общего вопроса – о порочности социальных и этических основ буржуазно-дворянского общества. В произведениях на эту тему, прежде всего в «Крейцеровой сонате» (1887—1889), писатель беспощадно обличал паразитическую и аморальную жизнь господствующих классов.

«Мать» – далеко не завершенное произведение, но и в известных нам отрывках начала повести отчетливо видно стремление Толстого показать, что среди привилегированных классов, где отношения между людьми проникнуты лицемерием и обманом, а дети воспитываются в условиях роскоши и праздности, не может быть хорошей семьи, «нет… честного брака».[47] Мужу героини повести Толстой намерен был противопоставить самоотверженного труженика – учителя Петра Никифоровича. Петр Никифорович и был единственным человеком, имевшим благотворное влияние на де-

---

[47] Из письма Л. Н. Толстого В. Г. Черткову от 24 апреля 1890 г. – т. 87, стр. 24.

тей.

Мысль о том, что «нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему»[48], то есть живущему в праздности, чужим трудом, – определяет идейное содержание повести «Мать», как и большинства произведений Толстого 80—90-х годов. Однако разрешение этого глубокого социального вопроса Толстой видит лишь в следовании отвлеченным «истинам» морали и религии. Именно поэтому в образе Петра Никифоровича, воплощающем его положительный идеал, писатель подчеркивает и поэтизирует прежде всего высокие «христианские» качества: суровый аскетизм, пренебрежение материальными благами, полное самоотречение.

---

[48] Т. 51, стр. 57.

III

Для характеристики эстетических взглядов Толстого в рассматриваемый период большой интерес представляет «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова». Как и в других статьях 80—90-х годов об искусстве, Толстой утверждает в этом предисловии, что искусство должно быть поставлено на службу интересам народа, быть доступным широким народным массам. В период, когда писалось предисловие к рассказам Семенова, Толстой все больше и больше убеждается в том, что подлинная цель искусства – изображать жизнь трудящегося народа, что единственный читатель, для которого можно трудиться с увлечением и с пользой, – это читатель из народа. «Не могу писать с увлечением для господ, их ничем не проберешь: у них и философия, и богословие, и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей, – пишет он в 1895 году дочери Марии Львовне. – А если подумаю, что пишу для Афанасьев и… для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать»[49].

С особенным вниманием и любовью относится в это время Толстой к сочинениям писателей из крестьян – С. Т. Семенова, Ф. А. Желтова, Ф. Ф. Тищенко и др. Он заботится об издании их произведений в «Посреднике», в различных

[49] Т. 68.

журналах и сборниках, дает им советы и указания. Под непосредственным влиянием Толстого создавались реалистические произведения этих писателей, проникнутые любовью к народу и основанные на знании жизни народа. С другой стороны, не без влияния и поддержки Толстого утверждались в их творчестве и религиозно-моралистические тенденции, обусловленные принципом «описывать не правду того, что есть, а правду царствия божия…»[50]

С. Т. Семенов познакомился с Толстым в 1886 году, когда принес ему «на суд» первое свое произведение – рассказ «Два брата». Толстой одобрил рассказ, и вскоре он был напечатан в издательстве «Посредник». С тех пор Семенов часто бывал у Толстого в Москве и в Ясной Поляне, вел с ним переписку. Толстой принимал живейшее участие в литературной работе Семенова, высоко ценил его литературное дарование, знание и правдивое изображение им крестьянской жизни.

В 1894 году к первому сборнику рассказов Семенова Толстой написал предисловие. Давая оценку «Крестьянским рассказам», Толстой отмечает, что их содержание «всегда значительно… оно касается самого значительного сословия России – крестьянства». Большим достоинством произведений Семенова он считает правдивость, искренность, простоту художественной формы, народность языка, яркость речевых характеристик персонажей. Все это и определяет, по

---

[50] Л. Н. Толстой, «Предисловие к сборнику «Цветник» – т. 26, стр. 308.

мнению Толстого, силу воздействия этих рассказов на читателя.

С другой стороны, всецело в духе своего религиозно-нравственного учения, Толстой утверждает, что главное в художественном произведении и, в частности, в рассказах Семенова – оценка автором поведения героев с точки зрения «идеала христианской истины». Справедливо требуя от художника не только изображать, но и оценивать людей, их поступки, Толстой считает отвлеченную «христианскую истину» основным критерием этой оценки.

Предисловие к «Крестьянским рассказам» было написано в пору напряженного интереса Толстого к эстетическим вопросам. Как и в ряде статей 1889—1891 годов и в «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана»[51], Толстой в предисловии к рассказам Семенова утверждает те принципы искусства, которые были обоснованы им позднее в трактате «Что такое искусство?». Беспощадное отрицание лжеискусства, являющегося праздной забавой эксплуататорских классов, оправдывающего их привилегированное положение, и утверждение искусства, которое ставило бы своей целью служить интересам народа, составляют содержание этих статей. Чаяния многомиллионных масс русского крестьянства, обреченных в условиях полицейски-самодержавного строя царской России на беспросветную темноту и невежество, отразились в этой мечте Толстого о народном искусстве.

---

[51] См. т. 30.

IV

По мере приближения революции 1905 года, обострения в России социальных противоречий у Толстого все чаще возникали сомнения относительно возможности переустройства жизни на основе непротивления и нравственного совершенствования, и он приходил к справедливому выводу, что «господ… ничем не проберешь». Несмотря на это, он настойчиво, до последних дней своей жизни, проповедовал свои «рецепты спасения человечества». В наибольшей мере слабые стороны взглядов Толстого проявились в таких статьях, помещенных в настоящем томе, как «Первая ступень», «Неделание», «Предисловие к дневнику Амиеля».

Содержащаяся в «Первой ступени» критика господ, у которых весь интерес жизни состоит в «жранье», критика, напоминающая обличительные страницы «Плодов просвещения», является в статье второстепенным моментом по сравнению с проповедью вегетарианства – «первой ступени», по мнению Толстого, на пути к «истинному христианству».

Статья «Неделание» (1893) посвящена разбору речи Э. Золя «Юношеству» и письма А. Дюма-сына редактору французской газеты «Голуа». Речь Золя была направлена против распространившегося в конце прошлого века среди буржуазно-дворянской интеллигенции увлечения мистицизмом и фидеизмом. Предостерегая молодежь от этого увлечения,

Золя призывал их верить в науку и труд, которые дают, по словам Золя, смысл жизни и служат залогом ее неуклонного совершенствования. Идеалист Дюма, отвечая на статью Золя, напротив, все свои упования возлагал на «христианскую веру», которая якобы объединит всех людей в стремлении к братской любви, избавит их от существующего зла и несправедливости.

Известно, какое конкретно-историческое содержание заключено в призыве Золя верить в науку и труд. Трезвый наблюдатель капиталистического общества, писатель-реалист, беспощадно разоблачавший пороки этого общества, Золя вместе с тем сам не был свободен от буржуазных предрассудков. Его представления о борьбе за справедливый социальный строй сводились, в конечном счете, к программе буржуазного реформизма.

Оценивая все события современной ему жизни с точки зрения интересов многомиллионного патриархального крестьянства, Толстой зорко подметил уязвимые места речи Золя. Он справедливо протестует против отвлеченной постановки вопроса о науке и труде, так как знает, что в буржуазном обществе труд служит, главным образом, обогащению эксплуататоров за счет эксплуатируемых, а буржуазная наука – оправданию существующего строя. «Пусть каждый усердно работает. Но что? – спрашивает Толстой. – Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал; фабрикант – из своего заведения, где тысячи людей губят

свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?»

Однако то, что противопоставляет Толстой призывам Золя, свидетельствует о его собственном бессилии указать подлинные пути изменения жизни. Соглашаясь с А. Дюма, Толстой надеется, что достаточно людям постигнуть евангельскую «истину» о «неделании» (не делай того другим, чего не хочешь, чтобы сделали тебе), как мир преобразуется сам собой. Мечтая о «коллективистическом складе жизни», Толстой высказывает утопическую и реакционную идею, что имущие слои общества способны осознать свой «грех», раскаяться и признать «обязательным для себя или религиозный христианский закон любви, или на том же христианстве основанный светский закон уважения к чужой жизни, личности и правам человека». Так статья «Неделание» еще раз доказывает, что Толстой не сумел найти подлинный выход из противоречий современной ему действительности. Его «рецепты спасения человечества» не могут быть оценены иначе, как заблуждения, отражающие «незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости»[52] патриархального крестьянства в период подготовки и проведения первой революции в России.

–

В идейном содержании помещенных в настоящем томе произведений Толстого со всей отчетливостью проявились

---

[52] В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 185.

острые противоречия социальных, этических и эстетических взглядов писателя. Обличение господствующих классов сочетается в них с проповедью классового мира на основе непротивления бедных и добровольного отказа собственников от своих привилегий; разоблачение подлой морали грабителей народа – с утверждением нравственного самосовершенствования как единственного средства, способного победить зло социальной действительности; «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок» – с изображением нереальных ситуаций, призванных доказать спасительность и всесилие «христианской любви».

Но при всех свойственных ему «кричащих противоречиях» Толстой выступает в 90-е годы как непреклонный и смелый обличитель помещичье-капиталистического строя, защитник интересов трудящихся масс. «Безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая *постановка* Толстым самых больных, самых проклятых вопросов»[53] своего времени свидетельствует о его страстном интересе к народной жизни, о его высоком понимании писательского долга.

Л. Опулъская

---

[53] Там же, т. 16, стр. 296.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется.

Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание текста.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который»,

и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в прочтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, что всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в прочтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: *[1, 2, 3 и т. д. неразобр.],* где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.

Абзацы редактора даются с оговоркой в сноске: *Абзац редактора*.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом)

без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означает, что текст печатается впервые; ** – что текст напечатан был впервые после смерти Толстого.

Иллюстрации

Автотипия: Л. Н. Толстой составляет списки нуждающихся крестьян. 1892 г. Фотография. Между IV и V стр.